

ЮРИЙ
АВДЕЕНКО

ЛУННАЯ
РАДУГА



ЛУННАЯ РАДУГА

ЮРИЙ
АВДЕЕНКО

Юрий Николаевич Авдеенко родился в 1933 году в городе Азове. После средней школы служил в Советской Армии рядовым, сержантом. Затем окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии.

Первый рассказ опубликовал в журнале «Советский моряк» в 1958 году. Первая книжка рассказов «Крылатый день» вышла в Воениздате в 1963 году.

Вторая книга молодого писателя состоит из двух повестей. «Лунная радуга» — повесть о службе в армии, о росте курсанта и младшего командира, его патриотизме, вызревании характера и моральных качествах, которые сказываются и в мужской дружбе и в любви к девушке Лиле — дочери полкового командира, погибшего на трудных учениях. «Этажи» — повесть о молодом моряке Максиме, получившем закалку на флоте и мужественно преодолевающим трудности «вольной» жизни на стройке в родном городе. Повести Юрия Авдеенко лиричны и колоритны, в них много живых, киноэкранных картин и эпизодов, проникнутых и грустью об отшумевшей юности, и юмором, свойственным молодым жизнерадам.

писатели МОЛОДЫЕ писатели



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“ 1967



ЮРИЙ АВДЕЕНКО

ПОВЕСТИ

ЛУННАЯ РАДУГА

P2
A18



ЛУННАЯ РАДУГА

ГДЕ СЕВЕР?

ЭХ, море, море... Золотое и зеленое, оно лежало в моем чемодане, уместаясь в ракушке с куриное яйцо. Я сам достал эту ракушку накануне отъезда в Москву. Нырнул со стенки причала и достал... Раньше я не нырял так глубоко. Когда вода сомкнулась над головой, в ушах раздалось потрескивание, похожее на шум радиоприемника. И я подумал, что ракушку можно было купить на базаре. Не выпить кружку пива и купить... Однако эта соблазнительная идея бесславно была отвергнута.

Руки, словно клешни краба,

загребали воду, но впечатления погружения не было. Наоборот, казалось, дно — огромная рыжая медуза — всплывает, слегка покачиваясь. И по мере приближения становится темнее...

Потрескивания усиливаются, будто кто-то невидимый вращает ручку приемника. Дыхание! Его хватит ненадолго. Дно уже близко. Один энергичный взмах, и тусклая бархатка песка коснется моей щеки. Но я знаю, не следует менять ритм движения. Хищно ощупываю сантиметр за сантиметром. Вот она, ракушка. Она выглядит большой. В воде всегда так. Я поджимаю ноги, потом по-лягушачьи выбрасываю их в стороны. Скольжу по-над дном. Пальцы обхватывают гладкую твердость ракушки. Теперь втиснуть ступни в песок. И стрелой вверх... Секунда, когда можно вновь увидеть солнце и набрать полную грудь воздуха, близка.

Ух!.. Хорошо полежать на спине. Смешно, как это многие не умеют. Нужно протянуть ноги и руки и лечь смело, словно в постель. Главное — забыть, что под тобой вода. Тело легче воды. Страх тянет на дно. Он самый тяжелый, проклятый.

Раннее солнце щекочет мне лицо. Я смотрю в перепаханное облаками небо. И оно кружится надо мной медленно и лениво, как долгоиграющая пластинка. Речка впадает в море совсем рядом. Она будет вертеть меня до тех пор, пока не прибьет к молу... Но это долго ждать. Нужно иметь терпение. Качество, о котором я могу рассказать, но не продемонстрировать.

Я нетерпелив. Я выбрал в Москву самый скорый поезд. Он проскакивает мимо маленьких станций без остановок. Они для меня не более чем страницы скучной книги.

На верхней полке здорово мечтается. Уставишь-ся в окно — и будто летишь на крыльях. Внизу девчонка в очках — землистая, унылая, тоже смотрит в окно. Поглядит минуты две и опять зубрит геометрию. Такая поступит в институт. Ее экзаменовать не надо. По лицу видно — все знает.

Возьмут ли меня на факультет журналистики? Я ни строчки не написал в газету. Пробовал только стихи. Нельзя сказать, чтоб хорошие. Так себе...

Но я спокоен. Месяц назад я тоже волновался, листал в библиотеке справочник высших учебных заведений. Спрашивал, встретив одноклассника:

— Куда подал? В медицинский? В пищевой?

А теперь я чихал на все волнения. Здоровье не купишь. Я и в МГУ документы подал так, любопытства ради. Почему бы столицу не посмотреть, университет, Ломоносовым основанный... Я бы и на Север, на комсомольскую стройку поехал. Только бесполезно. По первому ноябрьскому снегу в армию пригласят. Изволь. Брюки носишь.

Мой брат, Борька, недавно демобилизовался. Помню... Пришел он поздно вечером, сдержанно поцеловал всех. Крепче он внешне стал, в плечах расширился. Сержантские погоны с эмблемами танкиста. И еще одна деталь меня поразила. Вымыл он голову. Мать таз с водой хотела вынести, представляете, не позволил. Сделал это сам. Спокойно, со знанием дела вытер тряпкой пол. Ополоснул ее под краном, туго выкрутил и повесил на забор. Я не узнавал Борьку. Три года назад это был сорванец, каких мало! Отец и мать, чередуясь, ходили в школу. Разумеется, не по своей воле. Мать порола Бориса до шестнадцати лет. У нее было упрощенное

представление о педагогике. Однажды Борис вопил:

— Ой, мамочка, когда же ты кончишь хлестать-ся... Я паспорт получил!

Подозреваю, отец и мать с некоторой озабоченностью ожидали возвращения Бориса. А он вот какой...

Утром я спросил:

— Мам, опять забыла погладить брюки? Третий день в мятых хожу.

— Лентяй, — услышал я голос Бориса. Он стащил с меня одеяло и легкими пинками подогнал к столу.

— Бери утюг, — сказал он коротко и резко. Позднее я узнал, что так подаются команды.

Первый раз в жизни я гладил сам себе брюки. Через газету. Не успела мать уйти на базар, как Борис наполнил ведро водой и заявил:

— Будем мыть полы. Неси тряпку.

Я спрятался на чердаке, запершись изнутри. Борис обошелся без моей помощи. Мать была от него в восторге. Хвалилась соседке:

— Другим человеком вернулся...

— Армия — школа. Только не средняя... — сказала соседка. Она была со старшинскими задатками. Властная и придирчивая.

Вечером, когда я уклонился от поливки винограда, Борис начал философствовать:

— Ни о каком институте не может быть и речи. Место Славки в солдатах. Это ему нужно! Нужно, как детям прививка против коклюша.

Борис вынул из пачки папиросу. Он курил открыто, не таясь отца с матерью. В этом я видел пока единственное преимущество армейской служ-

бы. Я тоже курил. Втихую. Курил много. В школе меня называли директором дымовой тяги.

— Трудно в армии? — продолжал Борис. — Да... Однако и сахар не сразу сладким делается... Сложно освоить боевую технику, приемы. Но это лишь одна задача...

— А другая? — спросил я.

— Из сопляка мужчину сделать, — ответил Борис.

Отец удовлетворенно кивнул. Он прошел две войны. Трижды был ранен.

Борис расхваливал службу. Он делал это целый месяц. В конце концов я твердо решил, что если не поступлю на факультет журналистики, то перед мной открывается новая дорога. Пойду в солдаты.

Вместе с этим открытием я обрел покой и хорошее настроение. Решил положиться на авось, к вступительным экзаменам не готовиться. Это позволило мне прибавить в весе 2 килограмма 775 граммов.

В Москву поезд прибыл утром. Оно показалось мне туманным, но вскоре я осознал заблуждение. Чадили автомобили... Впервые с грустью вспомнил я о Туапсе. Потом я много раз вспоминал о родном городе. В то утро я понял, что и пирамидальные тополя, и белая акация, и море, и высокое, конопатое от звезд небо — все это частичка моей души, характера, биографии. И что без них я был бы не Славка Игнатов, а кто-то совсем другой.

Я поселился в общежитии на Стромынке. До Моховой ездил на метро. Старое здание МГУ мне не понравилось. Изжеванные лестницы, темные душные коридоры... В приемной комиссии я полу-

чил экзаменационный лист. Потолкался среди абитуриентов. Все они были жалкие. Кроме ребят, вернувшихся из армии. Тех, что вне конкурса!

Четыре экзамена я сдал на «отлично». Пятым была география. Билет попался детский: моря и реки Европы. И еще устройство компаса.

Я не рассказал, оттарактел, словно пулемет. Старик преподаватель как-то болезненно смотрел на меня. Заглянул в экзаменационный лист. Сморщился и тяжело — ух, как на него давили года — попросил:

— Ну хорошо, молодой человек... Определите, где же все-таки север?

И тут случилось непостижимое. Я стал вертеть компас. Я считал, что пользоваться им плевое дело. А стрелка дрожала, как контуженая, прыгала по шкале. Старик смотрел в окно, где на ярком солнце алел кусочек Кремля. Я возился с компасом, пот бежал у меня по щекам. Я понимал: крах, полный крах! Сдать сложные предметы и погореть на чепухе! Паршивый компас!

Старик повернулся, подвинул к себе экзаменационный лист, обмакнул перо в чернила.

— Определили? — равнодушно спросил он.

— Стены мешают, — сказал я.

В глазах старика зажегся интерес. Он оказался дотошным и предложил спуститься во двор. Он неторопливо шаркал по коридору. И все здоровались с ним. Я шел, как на казнь.

Во дворе светило солнце. Знакомые девчонки ели мороженое и с недоумением смотрели на меня.

Я вертел компас... Север прятался, словно мы играли в жмурки.

ПАРНИ В ШИНЕЛЯХ

Нас было много. Мы жили в двухэтажном особняке, где при финнах размещался публичный дом.

В шесть часов нас будил голос дневального. Мы поднимались раньше солнца и выбегали в морозное утро. Наши исподние рубашки, белые как снег, сливались со снегом, и в темноте казалось, что бегут только ноги и головы.

Иногда вместо физзарядки мы надевали шинели и брали лопаты. Мы шли чистить дорогу и посыпать ее желтым, как золото, песком. Песок откапывали в кювете и носили на дорогу пожарными ведрами. В темноте, как светляки в мае, мигали огоньки папирос.

После завтрака мы отправлялись на плац. Проходили курс, именуемый курсом молодого солдата. Было холодно. Время от времени сержанты командовали:

— Бегом марш!

Но согрело это ненадолго. Морозы в ту зиму властвовали крепкие. Вороненые стволы карабинов за секунды становились молочными...

По четвергам мы не ходили на плац. Оставались в казарме. Сержанты читали нам уставы.

А когда угасал день и над Карелией занимался вечер, мы пели солдатские песни.

Мы спали на койках. На синих двухъярусных койках. Вверху — первое отделение. Внизу — второе... Я служил во втором отделении. И спал внизу. Справа от меня лежал бухгалтер из Еревана Асирьян. Слева — Мишка Истру из солнечной Молдавии.

Асирьян — маленький, толстый человек. Глаза у него добрые и хитрые. Вам не приходилось встре-

чать такое сочетание? Зовут его в роте Сура. Хотя настоящее имя его Маис. Асирьян любит философствовать, и большей частью там, где не надо. А еще он любит поспать. Мы все любим поспать. Но Асирьян единственный человек в роте, который спит с открытыми глазами. Он может спать в любом месте. У него особая система, рассчитанная на все случаи службы. На занятиях, если они проходят в казарме, Сура садится в первый ряд и преданными глазами смотрит на взводного. Он остается неподвижным до конца занятий. Его можно ставить в пример. Но, к сожалению, бывают осечки. Без видимой причины Сура вдруг начинает храпеть, как подержанный трактор. Нарушает распорядок дня.

Если Суру назначали дневальным по роте, то он спал стоя, прислонившись к тумбочке. Но прислонялся он так умело, что мы долго не могли разгадать этой хитрости. Пока, наконец, Истру не выкрал у него нож...

Мишка Истру, в противоположность Суре, худой и высокий. Даже выше меня. За ним в роте утвердилась кличка Телеграф. Высота его — метр восемьдесят, при фигуре узкой и тонкой, как у танцора. Он убежден, что солдатом нужно родиться. И в этом Мишке не повезло. Его нескладная фигура упрямо не соответствовала военной выправке. И солдатскую форму трудно было подогнать на Истру. Так же трудно, как, допустим, фрак на кенгуру. Несмотря на все превратности службы, неожиданные как весенние грозы, Истру никогда не терял чувства юмора и оптимизма. Может, поэтому в роте он был человеком популярным. Все знали, что его отец директор научно-исследовательского института, доктор каких-то наук... Когда Истру приходила из

дому посылка, он угощал нас дорогими папиросами...

О себе я рассказывал. Одна поправка. Раньше я думал, что служить легко и просто. Увы! Жестокое заблуждение. Я убедился в этом, когда сержант Лебедь доложил командиру взвода лейтенанту Березкину, что не в силах научить меня строевому шагу. Сержант Лебедь был упрямый сержант. И лейтенант знал это. Он удивился и спросил, где я воспитывался.

— В Туапсе, — ответил я.

— Так почему вы гнете ногу в коленке, точно она у вас подрубленная?

— В Туапсе все сгибают ногу в коленке. — наивно возразил я. — Даже отставные офицеры...

Последний довод обезоружил взводного. Он был совсем молодой. И собирал открытки киноартисток, вынашивая тайную надежду жениться на одной из них.

Сообразительный Истру выписал из дому бандероль с журналами «Фильм» и «Экран». Издание — Варшава. Здесь были и Беата Тышкевич, и Барбара Квитковская, и Бриджит Бардо, и Софи Лорен... И многие другие, о которых ни я, ни взводный не имели понятия.

Краснея, как девушка, лейтенант Березкин принял подарок. Но, дабы никто не заподозрил в этом панибратства, удвоил требовательность к Мишке Истру.

— Лучше бы они лежали в Кишиневе, — ворчал Истру, имея в виду журналы.

Командира роты майора Гринько мы просто побаивались. У него была добрая некрасивая жена. Они жили недалеко от казармы в стареньком фин-

ском доме с широким мезонином. На мезонине часто сушилось исподнее белье.

Подтянутый и стройный майор всегда выглядел немного рассерженным. Его появление в казарме согласно уставу сопровождалось командой «смирно». Мы вскакивали, распрямлялись. Потом дневальный подавал «вольно». Но то, что «сам» в роте, чувствовалось даже в воздухе казармы. Так можно чувствовать ночь, находясь в ярко освещенной комнате.

Майор Гринько обладал прекрасной дикцией. И внешность у него была актерская: умные глаза, чем-то озабоченные.

Когда мы увидели его жену, то очень поразились. Щуплая женщина. В черном. С лица не то чтобы страшная, но непривлекательная. Случалось, мы наблюдали ее, когда она шла в Военторг или возвращалась оттуда с покупками. Она проходила мимо казармы, сутулая и печальная, точно старость. Она ни капельки не походила на офицерских жен, которые жили в гарнизоне. И однажды, это было весной, пришла к нам в роту и выбелила спальные помещения во всех трех взводах. Я, Мишка, Сура помогали ей. Подносили воду, разводили известь, таскали лестницы. Накануне ротные штукатуры побелили коридор. Майор Гринько посмотрел, скривил губы. Сказал:

— Плохо! Так дело не пойдет...

А на другое утро в казарме появилась его жена. Она попросила:

— Зовите меня Лизой.

После того как я присмотрелся к Лизе, изменил о ней свое мнение. Она оказалась чудесным человеком: простым, душевным. И на лицо теперь она

виделась мне совсем не дурнушкой. У нее были темные, почти бархатные глаза. И улыбаться она умела. Я понял, почему майор женился на Лизе. Он был умнее нас. И разглядел ее сразу.

Мишка Истру говорил так:

— Майор — неудачник. Это откладывает отпечаток на семью. Вот смотри, где он служил: на Камчатке... Теперь опять в дыру попал... Майор и до сих пор командир роты.

Может, Истру прав, а может, и нет. Я не знал майора так близко, чтобы разобраться в его судьбе, вынести свое мнение. Забегая вперед, скажу, что осенью, после нашего выпуска, майора Гринько перевели в Одесский округ, командовать батальоном.

Фамилия нашего командира батальона Хазов. Подполковник. Волосы постоянно блестят от бриолина. Рябое лицо напудрено. Холостяк. Живет в офицерском общежитии.

Пришел он как-то в нашу казарму. Сура, как на грех, малярничал, панели красил. Хазов посмотрел, цвет ему больно понравился.

— Красить, — говорит. — Все красить в зеленый цвет.

А Суре только скажи... Он взял и огнетушитель в зеленый цвет выкрасил.

Однажды, в самые первые дни службы, я был посыльным в штабе. Вызывает меня Хазов в офицерское общежитие. Доложил я, как мог.

— Ступай, — говорит, — на кухню. Принеси кипятка.

И дает мне фляжку.

— Есть! — говорю. И бегом к повару.

— Подполковнику Хазову кипятка нужен.

Фамилия Хазова на повара никакого впечатления не производит, потому что кухня полкового подчинения, а не батальонного. Поворачивается он ко мне спиной, словно я бедный родственник, — дескать, своих дел по горло.

— Кипяток в котле. Черпак рядом...

Зачерпнул я...

Принес флягу Хазову. Поблагодарил он. Бриться человек собирается. Всего хорошего.

Пришел я в штаб. Через пять минут звонок. Ругается Хазов:

— Кто это мне бульон принес? Как фамилия?!
Оказалось, я котлы перепутал... Еле оправдался.

Вот кратко о моих командирах. Конечно, все они — гораздо более интересные люди. Но я их знал всего лишь со своей «кочки» простого солдата. И только мог догадываться о тех сложных и весомых делах, которыми они занимаются, об их душевных и нравственных качествах. Круг интересов каждого из них мне тоже был неведом.

Угол моего зрения замыкался между командиром отделения и старшиной роты, о котором я расскажу немного позднее. Даже взводный лейтенант Березкин, самый рядовой офицер, казался мне фигурой значительной. Ведь обратиться к нему я мог лишь с разрешения командира отделения.

Человеку далекому от армии невозможно ясно и глубоко представить себе солдатскую жизнь, как, предположим, невозможно представить любовь человеку черствому, никогда никого не любившему. Одним служба кажется чем-то серым и мрачным, другим — боевой выучкой и парадами. Я и сам не

берусь определить солдатскую жизнь одним словом, но могу утверждать, что в ней, точно в калейдоскопе, встречаются самые неожиданные цвета и оттенки: от радостных до самых печальных.

Запомнилось одно чрезвычайное происшествие. Грянуло оно на втором месяце нашего пребывания в части.

В воскресенье проводился полковой лыжный кросс, причем для нас, новичков, дистанция была облегченная — пять километров. Старослужащие стартовали по другому маршруту, более сложному — через лес до Рыбьего озера и возвращались по главной дороге. Эту дорогу к полку называли «окном в Европу». Она связывала гарнизон с большой землей. По ней поступали новая техника, боеприпасы, продукты. Приезжали молодые солдаты, убывали домой отслужившие положенный срок. Дорога была красивая, и, как я убедился позднее, красивая не только зимой, но и весной, летом и особенно осенью, когда с тихим шелестом кувыркаются листья. Березы делаются золотыми, осины лиловыми, а елки остаются темно-зелеными. И кусты малины провожают дорогу до самой станции.

Это осенью...

А в день кросса дорога была гладкой, в бензиновых пятнах. Глубокие сугробы обнимали ее. На дороге, возле магазина Военторга, трепыхалась узкая ленточка, а выше — полотнище с надписью: «Ф и н и ш».

Большой широкоскулый сержант, уроженец Бурят-Монголии, пришел первым. Командир полка пожал ему руку и вручил кубок.

На другой день распространился слух, что сержант пропал. Поехал в увольнение на лыжах к де-

вушке, которая проживала на станции, но к сроку не вернулся. Некоторые солдаты и сержанты полагали, что чемпион выпил лишнее, загулял и забыл, что служба ждет. Но когда к девушке приехал посланный на розыски офицер, он узнал: сержанта у нее нет. Сержант ушел в ту же ночь обратно в полк.

Стали искать его в лесу. Всем полком. Шли в пяти-шести метрах друг от друга. Потом Мишка крикнул:

— Смотри! Тут кто-то есть!

Было похоже, что лежит накрытое снегом бревно, на которое напялили ботинки. Отсюда виднелась крыша нашей казармы. Сержант замерз тогда, когда до спасения оставалось сто восемьдесят три метра.

Приезжали специально люди из округа. Картина, которую они установили, была примерно следующей... Сержант пустился в дорогу, будучи в нетрезвом виде. Торопился. И чтобы сократить путь, оставил дорогу и пошел лесом. Заблудился. Сломал одну лыжу. Провалился в ручей. Промокли ноги. Он пытался разжечь костер, но почему-то не смог. Тогда он пошел на одной лыже. Неуверенность в направлении заставила его долго петлять у гарнизона. Он трижды был в двадцати метрах от дороги, но потом опять сворачивал в глубь леса. Обессилевший, он уснул и замерз.

Сержант сам виноват в своей гибели... Мы это понимали. Но все равно было немножко жутко от сознания того, что лес, который мы знали лишь с одной, внешней стороны (красивый лес!), оказался жестоким и коварным.

К счастью, происшествия подобные случались

крайне редко. Гораздо реже, чем в гражданской жизни. У нас были другие заботы. Свои, солдатские!

ДОМ НА САДОВОЙ

Мы часто собирались в курилке, где стоял вместительный ящик с махоркой. И рассказывали разные истории из «гражданки». Истории выдавались такие, что порою трудно было отличить правду от вымысла, да мы и не пытались это делать и были благодарны рассказчикам, как дети за сказку.

Если приходилось говорить мне, то я всегда начинал с экзаменов в МГУ, со злосчастного компаса и непослушной стрелки — с печального события, когда старик поставил мне тройку.

Двадцать три балла оказались не проходными. На Сретенке мне попался военкомат. Я пришел к начальнику 2-й части и сказал, что хочу в армию. Это была правда. Святая. Домой я не хотел!

Симпатичный капитан, разглядывая меня, понимающе спросил:

— Куда поступал?

— В МГУ.

— Ясно...

И тут объяснил, что не может выполнить мою просьбу. На действительную службу призывают по месту жительства. Но выход есть. Не закрыта разнарядка в два училища. В Ленинградское пехотное. И в пожарное Красносельское.

— Подумай, — сказал он.

Я повторил, что мне бы лучше солдатом.

— Подумай, — улыбнулся он. Ему нужно было обеспечить разнарядку.

Я выкурил сигарету и выбрал пехотное... Через день получил воинское предписание, проездные документы, суточные...

Поздно ночью я уехал из Москвы пассажирским поездом, в общем вагоне. На полке, самой верхней, багажной, где я лежал, было душно. Кто-то пытался водрузить мне на ноги детскую коляску. Я чертыхался, потом уснул... Спал неудобно. Утром выяснилось, что я все-таки делил полку с коляской.

Достав из чемодана полотенце, прыгнул вниз. У туалета торчала очередь. Решил, что умоюсь где-нибудь на остановке...

Зверски хотелось есть. Девчонка на нижней полке лузгала семечки. Платье у девчонки из желтого вельвета. Ей не больше восемнадцати. Лицо маленькое, с узким подбородком. Глаза глубокие. А волосы такие темные, что лицо кажется белым, как снег. Она смотрит на меня с любопытством ребенка. И я смотрю на нее. Рядом сидят старые тетки в одеждах неопределенного цвета. И от этого желто-черная девчонка выигрывает. И в вагоне от девчонки светлее. Она лузгает семечки и прячет шелуху в большой карман платья.

Из-под полки девчонка достает узелок. И угощает семечками всех сидящих в купе. Подходит моя очередь. Я беру горсть семечек и говорю:

— Спасибо.

Говорю и смотрю ей в глаза. Девчонка краснеет. Мне кажется, что она оделила всех семечками лишь для того, чтобы угостить меня. На остановке я покупаю мороженое. Едва успеваю вскочить на подножку вагона. Девчонка ждет меня в тамбуре. Она еще сама не признается в этом. Но я догадываюсь... Она смущенно принимает брикет. И благо-

дарит... Мы едим мороженое и смотрим на мир сквозь пыльное стекло двери. Я распахиваю дверь. Вместе с солнцем в тамбур врывается грохот колес. «Тик-так, тик-так...» Простенький ритм. А никогда не надоест. Сварливая проводница нарушает нашу идиллию. Она говорит, что открывать дверь на полном ходу поезда строго воспрещается. И захлопывает дверь. Но едва она уходит в салон, я опять открываю. Девчонка испуганно спрашивает:

— Разве так можно?

— Можно. Главное, не дрожать...

Все просто. Девчонку зовут Маринкой. Она живет далеко за Ленинградом. Где-то у черта на куличках. Я немного разочарован. Ленинград — другое дело. Но Маринка мне нравится. У нее наивное представление о мире.

Мы болтали до самого Ленинграда. О чем, не помню... Приехали вечером. Еще не совсем стемнело, но морозящая пыль дождя и низкие тучи, висевшие над мокрыми крышами, старили вечер, словно морщинки лицо.

Маринку я потерял на перроне, так и не успев с ней проститься. Я помнил, что ей нужно компостировать билеты на Финляндском вокзале.

Молодой лейтенант-сапер объяснил мне, как добраться до училища. Я пересек привокзальную площадь и пошел по Невскому в поисках троллейбусной остановки. По проспекту катили машины. Их было трудно сосчитать сколько. Они сливались с серым асфальтом, и только полоски никеля впереди, узкие, как титры, неслись мне навстречу.

Из троллейбуса я вышел на Садовой. Всмотривался в вывески. Когда же появится моя? На душе было муторно. Я волновался...

За решетчатой оградой, распластавшись в глубине двора, дремало здание. Ни в одном из его окон не было света. На воротах — ржавый замок. Вероятно, его повесили еще до начала дождей. Справа от ворот на каменном столбе вывеска, где красным по белому написано — пехотное училище.

Я медленно шел вдоль решетки, озадаченный столь откровенной неприветливостью. Автофургон «ХЛЕБ» свернул с дороги и въехал под арку примыкающего к ограде дома. Я последовал за ним. Дневальный, парень с красно-желтыми курсантскими погонами, пропустил меня и спросил, кто я. Я сказал. Дневальный провел меня на КПП. В маленькой комнате было густо накурено. Несколько курсантов играли в домино. Один спросил:

— Новенький?

И, получив утвердительный ответ, принялся мешать костяшки.

— Обожди старшину, — сказал кто-то, сейчас и не вспомню... Я сел на табуретку. Таковую видел впервые. В центре сиденья была прорезана выемка. Пропустив в нее пальцы, можно нести табурет куда угодно.

Вошел старшина, высокий крупный мужчина. Курсанты встали, опустили руки по швам. Это было мне в диковинку. Старшина сказал:

— Вольно.

Один из курсантов объяснил, что я новенький. В старшине чувствовалась сила и уверенность. То, что курсанты приветствовали его вставанием, придало старшине вес в моих глазах.

Он повел меня в казарму, где уже находилась группа кандидатов. Моя койка оказалась самой крайней.

— На довольствие поставим завтра. Но ужинать ступай смело. Накормим!

Так началась моя армейская жизнь...

В понедельник нас привели в спортивный городок. Окинув взглядом брусья, кольца, перекладину, я почувствовал себя не на месте, как слепой перед телевизором.

Суховатый, поджарого вида офицер раскачался на перекладине, потом рывком выпрямился на руках, замер, словно голубь на жердочке, и спрыгнул вниз.

— Это простое упражнение, — сказал он, — называется «подъем разгибом».

Выяснилось, что нам всем предстоит подняться именно таким способом. Я воспринял новость так же, как если бы мне предложили топтать пешком на луну. Однако, соблюдая дисциплину, я твердым шагом подошел к турнику, вцепился в перекладину и, памятуя, что попытка не пытка, подтянулся, коснувшись подбородком скользкого металла. Дальше дело не пошло... Я попробовал лягнуть ногами воздух... Но уже в следующую секунду лежал на земле, словно яблоко Ньютона.

— Ясно! — сказал поджарый офицер и сделал пометку в блокноте. — Следующий!

После обеда нас отправили на медкомиссию. И заставили ходить голыми перед девчонками в белых халатах. Девчонки записывали разную чепуху про рост, вес... И делали вид, что не обращают на нас никакого внимания. Но мы подозревали, что это наивное притворство.

К вечеру у меня заболела голова. Еще бы!

Для одного дня — слишком много впечатлений!
Во вторник, в среду, в четверг мы сдавали

остальные экзамены. Я отвечал не хуже других, но кандидатов в курсанты приехало больше чем надо и, когда стали подбивать бабки, двойка по физкультуре сказала свое слово.

— Не проходишь, — произнес лысеющий подполковник, бросив в мою сторону взгляд, полный сожаления. — Что же с тобой делать, друг?

Ответ был готов давно:

— Пошлите меня в солдаты.

ЛЕСТНИЦА МУДРОСТИ

В каждом городе есть лестницы. Лестницы не прихоть архитектора, они нужны людям. Одесская лестница знаменита на весь мир. Кто видел ее, тот знает, что одесситы в долгу перед ее строителями.

У нас в казарме тоже есть лестница. Деревянная, с коричневыми перилами. Называют ее лестницей мудрости. Я не уверен, что на эти перила опускалась рука ученого мужа, что Аристотель читал здесь свою «Поэтику», а седовласый Галилей, спасаясь от козней инквизиции, провозгласил отсюда:

— А все-таки она вертится!

Я не уверен в этом.

Все проще, а главное — прозаичней. К концу недели в роте обычно набиралось семь, шесть человек, получивших наряды за разные провинности. После обеда старшина Радионов строил «молодчиков» вдоль стены, под плакатом, где был нарисован бравый пожарный с огнетушителем в руках. Пожарный стоял на отпечатанном жирными красными буквами призыве: «УДАРЬ ОБ ПОЛІ»

Подавалась команда. Старшина называл фамилии и коротко бросал:

— Туалет... Курилка...

И каждый знал, что ему нужно убирать туалет, курилку или стеллажи в комнате для чистки оружия...

Двух наиболее злостных нарушителей дисциплины старшина подводил к лестнице и, по простоте душевной, приказывал мыть ее снизу вверх. Поскольку практически лестницу таким образом вымыть невозможно, то ее приходилось перемывать вторично: сверху вниз. Вот почему наша лестница была всегда чиста и приятна для глаза.

Люди, проделавшие эту операцию, умнели ментально. Они вызывали у нас чувство почтительности, как уже прошедшие через нечто...

В то утро Истру, словно предчувствуя недоброе, толкнул меня в бок и попросил посмотреть ему в правый глаз. Я сказал, что правый глаз у него на месте.

— Ячмень не вырос? Нет. Так и знал... К несчастью, у меня правый глаз без причины чешется. Как у других суставы на погоду ломит. Народная примета...

Сбылась она после ужина. Когда мы без разрешения встали из-за стола и незаметно вышли из столовой. Мы вышли с благой целью: купить ванильных сушек. Это хорошие сушки и даже немного сладкие. Мы с Мишкой любили эти сушки и пошли в ларек. Но там была очередь. Пока мы стояли в очереди, наша рота поужинала и ушла в казарму. Я очень расстроился, узнав об этом. И Мишка расстроился. Он сказал, что сушки его слабость. А люди без слабостей редки.

— Я не считаю себя идеалом, — сказал он. — Говорили же в старину цыгане, что от самого себя ни на каком коне не ускачешь...

— Философия слабосильных, — возразил я.

Истру усмехнулся. Он был занят сушками... Мы шли по снегу. Светила луна. Было очень красиво. Дорога от столовой уходила немного вниз. По обеим сторонам ее ютились финские домики, в которых жили семьи офицеров. Мимо нас быстро прошла девушка. Я не разглядел ее лица. И только увидел светлые волосы на темной шубе.

— Девушка, угощайтесь сушками. Они ванильные! — крикнул я.

Девушка не обернулась. Она поднялась на крыльцо одного из домиков и скрылась внутри.

— Донская, — прошептал Истру.

О Лиле Донской я слышал еще в бане. Это был наш первый банный день в гарнизоне. Мы тогда плохо знали друг друга. Немного в лицо. И совсем не знали фамилий. Наша рота была учебной. От остальных она отличалась тем, что все мы имели среднее образование. Через восемь месяцев нам надлежало сдать экзамены на сержантов.

Когда нас построили по ранжиру, я оказался рядом с длинным и худым парнем. Он сказал, что его зовут Мишкой.

— Славка, — представился я.

И еще я знал Суру. Он был очень заметный: маленький плотный южанин с черными усами. Эти усы раздражали старшину. Сура уверял, что усы — мужское достоинство. Не помогло. Парикмахер смел их в корзинку вместе с остатками жесткой шевелюры.

Баня была в старом кирпичном доме. Глухая

стена бани хорошо просматривалась из окна нашей казармы. Штукатурка местами была отбита, и поэтому стена напоминала гигантскую карту с неизвестными материками и океанами. Пока мы раздевались, искали шайки, стояли в очереди за горячей водой, солнце село и в бане стало темно. Свет почему-то не горел. Из-за щедрого пара воздух в бане потерял прозрачность. Каждый сидел сам по себе и не видел соседа.

Вот она, самостоятельность и бесконтрольность. Все словно с ума сошли. Пищали, кричали, мяукали...

Истру сидел рядом. Я смутно видел его физиономию, но хорошо слышал голос. Иногда на пути к мылу встречались наши руки. Истру, или, как звали его между собой ребята, «профессорский сынок», рассказывал сведения о гарнизоне, которые он раздобыл за три дня нашего пребывания. Из его слов выходило, что нам крепко не повезло. Попали мы в медвежий угол, где девушек и то одна, две — и обчелся.

— Правда, вчера в Военторге встретил одну девчонку. Чудо! Девятнадцать лет. Блондинка с голубыми глазами. Большеротая... Откуда? Дочь командира полка. Не поступила в институт. Болтается в гарнизоне.

Что-что, а заливать Мишка мастак! Он так расписывал Лилю... И вот она прошла рядом. А я даже не разглядел ее. Сказал что-то как глупенький. И только.

— Ладно, — сказал Мишка. — Не обращай внимания. Сейчас главное — старшине на глаза не попасться.

Попались!

— Так, так, молодчики, — сказал старшина Радионов, обводя нас не строгим, а скорее любопытным взглядом. — Хорошенькое дельце...

— Могу анекдот рассказать, товарищ старшина, — заявил Истру, метя в самое слабое место Радионова.

— Так, так... — повторял старшина, не выражая ни протеста, не выказывая и особого желания послушать анекдот.

Истру начал:

— Приходит мать в гости к дочке. А внука спрашивает:

— Бабушка, а где черт?

— Какой черт, внученька?

— Ну, ты с чертом шла...

— Бог с тобой, милая, — удивляется старушка. — Сама я шла.

— Тогда почему, увидев тебя, мама сказала: опять черт ее несет.

Старшина засмеялся и ушел в свою каптерку.

— Обошлось, — прошептал Истру. — Обошлось, Славка.

— Ты гений, Мишка! — воскликнул я.

На вечерней поверке гений и я были выведены из строя. Старшина Радионов громогласно объявил нам за хождение вне строя по одному наряду.

В субботу мы с Мишкой мыли лестницу. Мы мыли ее сначала снизу вверх, а потом сверху вниз.

— Ничего, — говорил Истру, выжимая тряпку. — За двух битых четырех небитых дают.

Было тихо. Все ушли в клуб. У тумбочки, посапывая, дневалил Сура. Лестница мудрости желтела, как пасхальное яйцо.

Ветер покинул нас. И все вдруг изменилось, точно нам развязали глаза. Вверху лежало изобретенное облаками небо: местами голубое, местами розовое. Фиолетовые вороны тяжело покачивались в воздухе и каркали громко, нудно...

Лентой, цепочкой, ручьем батальон скользил по белому широкому склону и скрывался в густом лесу. И я вдруг вспомнил, что очень давно, мне было не больше девяти, я приобрел «Атлас СССР».

Карты географические были для меня тогда вещью загадочной и непонятной. Я быстро перелистывал их, удивляясь человеческой премудрости. Мое внимание привлек разворот, где яркими маленькими картинками были представлены климатические зоны нашей страны.

Самой привлекательной показалась мне тайга. Я завидовал охотнику на широких, как банановые листья, лыжах. Перед ним, свесив заснеженные ветви, в поклоне припадала ель. Теперь я тоже шел на лыжах. Но гораздо хуже, чем охотник. На Черном море зима не баловала нас...

Желтые блески на снегу, пушистые, как цыплята, напоминали, что солнце впереди, за деревьями. А деревья в этот предвечерний час были необыкновенными. Высокая разлапистая елка казалась убранной для праздника. Ее узкая вершина блестела, точно обернутая фольгой. Несколько ниже, где обычно проходит первый круг праздничных флажков, ее лапы были вытканы ледяными маками. Конечно, все это игра света. И мое воображение, видимо, не отличалось оригинальностью. Однако я смею утверждать, что у самого снега елка была

фантастически голубой, с зеленым отливом, точь-в-точь море в погожие дни апреля.

Команда «привал» не нуждается в разъяснениях. Последний раз я слышал ее часов пять назад. Тогда мы остановились на обед. Близ дороги. Хлеб кололи саперной лопатой — твердый и серый, как гранит. Потом раздавали почту. Мне два письма. Но вскрыть я их так и не смог. Вынул из перчатки руку, она стала белой, словно из гипса. Какие здесь письма. Спрятал я их до лучших времен в карман. И опять перчатку натянул. Пальцы еще долго щемили и не сгибались...

Нынче привал с ночевкой. Подъезжаю к Истру. Он стоит, опершись на скрещенные палки. Ресницы седые, как у деда-мороза. Холодище градусов тридцать. У Истру папиросы. У меня махорка. Но сворачивать сигарку в такой мороз — удовольствие ниже среднего.

Мишка Истру нежадный. Он протягивает папиросы мне и Асирьяну.

— Погодка аховская... Кури, Сура!

Сура не курит. Он парень не промах. Он рассудительно произносит:

— Сухой бы брынзы... Да бутылку кислого вина.

— Немного музыки, немного барашка... — в тон ему говорит Истру. Мне нравится его неудержимый оптимизм, а еще пуще — анекдоты. Он знает их столько, сколько волос было когда-то на моей стриженной голове. А может быть, и больше.

— Обмороженных нет? — спрашивает лейтенант Березкин и, получив отрицательный ответ, идет дальше.

Сержант Лебедь поясняет нам: нужен шалаш.

Как делают шалаш? Вначале разгребают снег. Непременное условие. Потом рубят ветки. Мастерят из них стены и крышу. Честно говоря, последнее занятие — пустое дело. Такой шалаш обогревает не больше, чем холодильник. Самое разумное — вырыть в снегу яму. Настлать хвои и разжечь костер. Но мы еще не знаем, что разумно, а что нет. Мы носим ветки. Удивляемся — хорош шалаш!

Первые звезды, яркие и молодые, выходят на дежурство. Мы видим их. А они нас едва ли. Луны еще нет. Луна задерживается.

Крепчает мороз. Воздух как крапива. Сейчас бы в натопленную комнату. Чайку! А кругом костры. Какие они родные! Котелок пахнет горелой краской. Глупо, конечно, красить котелок обыкновенной зеленой краской. Но красят. Видно, такое указание. Мы не расстраиваемся. Краска завтра счистится, и котелок станет нормальным: белым, алюминиевым. Кипит гречневый концентрат. Вкусно! Черт возьми, кто мог подумать? А если кооперироваться, как мы с Истру, то совсем удобно. В одном котелке пыхтит чай, в другом каша. Жить можно! Самое главное... В шалаш никто не лезет. Все жмутся к костру. А шалаш стоит как памятник. И пусть стоит.

Говорят, что, согласно лучшим кулинарным рецептам, гречку можно приготовить в двух видах: каша-крупчатка и каша-размазня. Но есть еще одна каша. Гречневая каша по-солдатски! Она пахнет дымком и талым снегом, как пахнет травами хорошее, выдержанное вино.

Бросаем жребий, кому мыть котелок. Сытая лень разморила нас. Мы неподвижны, словно тряпичные куклы. В лицо — жара, будто на экваторе.

А за спиной Северный полюс. И мы сидим на границе. Льем к костру. Хорошо так. И кажется, ничего нам в жизни не надо. Тепло лишь бы. А я знаю, что все это не так... Иначе мы бы здесь не сидели. И все же в костре огромная сила заложена. Маленький он. А тепла на всех хватает... Вот так и человек должен. Обогревать ближнего. Сложно это. Стараться надо... Вот Истру образования при себе не держит. И горячий, что зажигалка. Недавно в казарме дискуссию о теории любви устроил. Ссылаясь на Стендаля, он делил любовь: на любовь-страсть, любовь-влечение, физическую любовь, любовь-тщеславие. Раскритиковали его ребята. Сура заявил, что это бред. Истру обиделся. А по моему, ребята правы. Любовь нельзя разложить по полочкам.

Трещит костер. Поет... А мы курим и слушаем, что рассказывает Истру... Сержанта Лебеда вызывает командир роты.

Мы еще не знаем, что через четверть часа наш командир отделения вернется. И нас троих: Истру, Суру и меня — возьмет в разведку.

Это не настоящая разведка. Учебная. Противника обозначают такие же ребята, как и мы. Из соседней части. Но отнестись к заданию мы должны с полной серьезностью. Мы понимаем и обещаем. Сержант Лебедь ставит нам задачу. И назначает меня своим заместителем.

...Дорога, глянцевая от наката, прижималась к застывшему лесу. Отсюда, с обочины, деревья выглядели тяжелыми каменными изваяниями. Мы лежали в кустарнике, невидимые в маскхалатах, а за нашими спинами шепелявил ручей. Он тоже был в халате изо льда. Сержант Лебедь

разъяснил, что если мы пройдем вдоль излучины ручья километра полтора, то как раз попадем в тыл «противника». Именно так сказал командир роты, когда ставил задачу на карте. Но вот беда, ручей ужом прополз под дорогой. Мы не могли последовать его примеру. И выбирали момент, чтобы перебраться на ту сторону. Хорошо, сержант наш человек опытный. Доверь разведку мне, можно крест ставить — ни с чем вернулись бы.

Луна всякую скромность потеряла, пялит глаза всю. Приходится лежать. Неподвижность и сосредоточенность внимания вдруг обернулись беспричинной тревогой. Будто и в самом деле нас окружают враги и любое неосторожное движение, громко сказанное слово могут оказаться губительными. Я крепче обхватил автомат, забывая, что патроны холостые...

Наконец мы приподнялись. Предостерегающе махнув нам рукой, сержант Лебедь выбежал на дорогу. За поворотом хлестанула пулеметная очередь. Мы упали в снег, рыхлый на обочине, а Лебедь броском поспешил на другую сторону. Из темноты вышел полковник с белой повязкой на рукаве. Это посредник. Он сказал Лебедю:

— Вы убиты.

— Я убит! — крикнул нам Лебедь.

Мы недоуменно переглянулись. Редкие снежинки неторопливо кружились в воздухе. Удручающее спокойствие исходило от них. Психологический эффект, еще минуту назад державший нас в напряжении, был разрушен.

Сержант Лебедь и посредник перешли дорогу и остановились над нами.

— Ваши действия? — спросил посредник.

— Группа, слушай мою команду, — простуженным, словно чужим голосом сказал я.

Истру и Асирьян преданно смотрели на меня, готовые броситься в огонь и в воду. Но что делать дальше, я не ведал. Помнил, когда убивают командира, заместитель берет инициативу на себя. У посредника заиндевели усы и папаха. Он испытующе глядел на меня. И может, думал, как такому неумелому людей доверять. Я сделал умное лицо. Строго спросил:

— Задача, поставленная сержантом, понятна? Ребята кивнули.

— За мной, — буркнул я. И, прокладывая лыжню, пригибаясь, пошел вдоль кювета.

Шли быстро и молча. Каждый двести метров останавливались и смотрели назад. Таков закон разведчиков. Иначе не найдешь обратную дорогу.

Сура отвернул рукав и взглянул на часы. Светящийся циферблат в таких условиях незаменим. Два часа ночи.

— Время знай себе стучит, — пробормотал Истру.

Я обернулся назад. Сказал тихо:

— Мы остались одни. Нужно не подвести сержанта. Выполнить задание.

— Что нам стоит дом построить? Нарисуем — будем жить! — сказал Истру.

Кустарник поредел, уступая место сизо-белой поляне, напоминающей по форме наконечник стрелы. Мы замерли, словно три снежных истукана. Замерли, только дышим и смотрим. А смотреть есть на что. Никакой это не наконечник. Просто траншеи. Маскировали их тщательно, да все равно угадать можно.

Траншею противника нужно перейти незаметно. Зайцем, лисой... Засекут, придется возвращаться не солоно хлебавши.

Лыжи закапываем в снегу. Примета: обломанная березка.

Вперед по-пластунски. Без подвохов. Суру совсем не видно. Он маленький, весь в снегу, как клубок. Мишка сопит. Ползти тяжело... Тяжело, аж круги в глазах расходятся. И ни капельки не холодно.

Когда траншея осталась далеко позади и мы углубились в лес, Мишка сказал:

— Страсть как чихнуть хотелось!

Он поднялся во весь свой богатырский рост и тут же испуганно присел:

— Батарея...

Два орудия стояли недалеко друг от друга. Пока я сверялся по компасу и заносил орудия на карту, которую в последний момент передал «убитый» сержант Лебедь, меня так и подмывало закурить, даже зубную боль почувствовал.

Двинулись дальше.

— Четвертый час, — сказал Истру, — а сделали мы совсем мало. Давайте действовать в одиночку, а потом встретимся у этого дуба. Он заметный.

Я очень боялся, что мы заблудимся в лесу. Но желание узнать больше сведений взяло верх. Мы договорились встретиться через час.

Я пошел на север... Вначале шел просто так, оглядываясь через десять шагов. Как бы не потерять из виду дуб. Потом вспомнил, что я отвечаю за ребят. А вдруг заблудился Асирьян или Истру? Что делать тогда? Сложное это дело — командовать людьми.

Темнота. И стук топора. Резкий, звонкий. На морозе всегда так. Я пошел на стук. Узкая тропинка привела меня к пищеблоку. Восемь походных кухонь чадили, словно заправские курцы. Возле них хлопотали повара. Я старательно пересчитал кухни, запомнил, как они стоят, и, сделав небольшой крюк, вернулся к дубу. Вскоре пришел Сура. Он обнаружил минометную батарею... Но самые потрясающие сведения принес Истру, вернувшийся с некоторым опозданием. Он узнал место расположения штаба полка, фамилии всех офицеров, до командиров рот включительно. Узнал, где стоит первый батальон, второй... и какие средства им приданы... Сведения были настолько невероятными, что мы решили: Мишка все это придумал... После незначительных заперательств Мишка рассказал о том, как встретил земляка-молдаванина. На родном языке поболтал с ним у костра. И тот все ему выложил.

— Нас за это не похвалят, — сказал я.

— Наоборот, — возразил Истру. — Читали «Это было под Ровно»? Разведчик Кузнецов переодевался в немецкую форму. И смело гулял в расположении фашистов. Заводил знакомства. Так и собирал сведения. Я сделал то же самое...

Возразить было нечего. Следовало торопиться к своим.

...Мы не без труда разыскали лыжи, потому что уже рассвело. Снег на рассвете неброский, как подсиненное белье. И хотя мы устали, очень устали, но я доволен этой ночью. Я много ночей проводил и проведу в теплой постели. Однако ночь в лесу — первая в моей жизни. Я не забуду ее никогда, как не забуду все первое...

Я многое не увижу на земле. Жизнь слишком коротка, чтобы увидеть все. Но зимняя ночь в лесу уже была в моей биографии. Я стал богаче. А теперь к костру. Он тоже не из сказки!

БЕЛКА НА СЕРВАНТЕ

Аристократия!

В каждом полку есть своя, солдатская аристократия. Она не устраивает приемов и не блещет туалетами. Внешне она незрима. Далеко не все догадываются о ее существовании. Но она есть...

Аристократ номер один — хлеборез. Как правило, толстый, с узкими хитрыми глазами. Конечно, хлеборезка не Монте-Карло. Но как сказал Мишка:

— И хлеборез не мсье Блан.

За хлеборезом длинной чередой следуют повара, сапожники, портные, санинструктора, писаря, кладовщики, ездовые... Всякая аристократия имеет свои обычаи и привилегии. Солдатская тоже. Для нее нет понятий: отбой, подъем. В клуб, в столовую она склонна ходить вне строя. Для строя есть строевые солдаты.

Среди солдатских аристократов встречаются меценаты. Чаще всего это хлеборез и повара. Покровительствуют они землякам, спортсменам, солистам самодеятельности. Короче, тем или иным знаменитостям местного масштаба. Выражается покровительство в виде лишней порции сахара или лакомого кусочка мяса...

Угостить аристократа папироской — это одолжение для угощающего. А тут чудо... Санинструктор протягивает мне папироску и говорит:

— Кури. Легче будет...

У свидетелей этой сцены от удивления лезут на лоб глаза. А я курю. Я знаю себе цену. У меня в мешке белка. Живая белка. Настоящая. Ее поймали ребята. Полковник Донской просил передать белку своей дочери. Она у него одна, и ей скучно.

Я это знаю. И все знают...

Слегка покачивается машина. Это санитарная карета. В ней сравнительно тепло.

— Покажи белку, — просит санинструктор.

Я протягиваю вещмешок... В машине несколько солдат. Обмороженные. Они тянутся к мешку. Зажигается свет. Я курю. Пускаю дым... Мне можно. Дым крошечными облаками плывет по машине.

Я не чувствую боли. Хорошо!

Но почему я здесь, в машине? Учения же еще не кончились.

А случилось, что у меня заболел зуб. К вечеру разнесло правую щеку. Она стала похожей на большой непропеченный калач.

— Глаз заплыл, — говорит Мишка. — Слушай, иди в санчасть.

Я отрицательно машу рукой.

— Люди ранения в войну получали. И то не ходили...

Мишка удивляется. Я и сам себе удивляюсь частенько.

— А я хочу как на войне... Чтобы без всяких скидок! — говорю я.

Сзади раздаются голоса ребят:

— Шапкой ее... Быстрее!

— Лови! Лови! Эх, разиня...

— Заруба, давай!

Мы поворачиваемся и видим: идет охота на белку. Ее сбили с ветки. И вот рядовой Заруба

из первого отделения делает отчаянный бросок — белка у него под шапкой.

Истру взмахивает палками и спешит к месту происшествия. Там уже собралась целая толпа. А я курю... Мне не до белки. Я поглощен тем, что набираю побольше дыма и медленно выпускаю его. Когда я курю, боль утихает.

Невдалеке остановился «газик» командира полка. Из машины вышли полковник Донской — наш командир полка — и два сопровождающих его офицера.

Я приветствую их, принимая положение «смирно». Донской смотрит на меня и спрашивает:

— Что у вас со щекой?

— Болит зуб, — говорю я.

— Давно?

— Третьи сутки...

— Машина в санчасть еще не ушла? — спрашивает Донской у одного из офицеров.

— Нет.

В это время из толпы, где поймали белку, раздается громовой хохот. Солдаты расступаются. Белка прыгает на дорогу, но Заруба самоотверженно бросается на снег и опять накрывает белку шапкой. Он поднимается. И, увидев полковника Донского, растерянно замирает. Его стриженная голова ежиком торчит над шинелью, к груди он прижимает шапку, из которой выглядывает беличий хвост.

Полковник Донской приближается к нему. И вдруг Заруба проявляет солдатскую находчивость, делает шаг навстречу полковнику и говорит:

— Товарищ полковник, разрешите преподнести вам лесной подарок от первой роты...

— Хорошо прыгаешь, — говорит Донской.

— До службы вратарем работал, — весело отвечает Заруба.

И, к удивлению всех присутствующих, полковник Донской берет у Зарубы шапку с белкой.

— Лейтенант Березкин, как фамилия вашего больного? — спрашивает полковник.

— Рядовой Игнатов!

— Игнатов! — зовет полковник.

Я подхожу к нему.

— Поедешь с машиной в санчасть... Но только больше не болеть...

— Он крепкий, — вступается за меня Березкин. — Вот зубы у него слабые.

— В детстве конфеты любил, — шутит полковник.

— Он и сейчас не откажется, — говорит Истру. Солдаты смеются.

— Снимай вещевой мешок, — говорит мне полковник Донской. — И прячь туда белку. Передай моей дочке. Мы рядом с санчастью живем...

— Я знаю, — говорю я и снимаю из-за плеч мешок.

Ночь. Гарнизон словно вымер. Занесло дороги. Узкие тропинки ведут от казармы к казарме. Наша машина останавливается у санчасти. Я выскакиваю из машины первым.

— Ты куда? — кричит санинструктор.

— Я сейчас, — говорю я. — Одну минуточку...

Я держу в руке вещевой мешок и бегу... Тишина. Хрустит под ногами снег. Я бегу... Валит изо рта пар, светится под луной. Я смотрю... И мне в голову приходит забавная мысль. Радуга! Может ли быть лунная радуга? Я делаю выдох. Ночь про-

глатывает серебристо-молочное облако пара. Нет. Лунной радуги не бывает! А ведь нужно бы только поднять глаза. Посмотреть на луну. На золотистую медаль, которую когда-то заслужило наше небо. Ее окаймляет широкий радужный пояс. Вот она, лунная радуга.

Но я смотрю себе под ноги. Я доволен собой, доволен открытием — лунной радуги не бывает.

Финский домик. Двухэтажный, с широким мезонином. Светятся окна. Я слышу бречание гитары и скорее задушевный, чем сильный голос:

Счастье где-то бродит по дороге
И приходит снова на порог.
Надо только, чтоб на том пороге
Не погас заветный огонек.

Я влюблен в эту песню, как в девушку. Стою, смотрю в окно. Разумеется, ничего не вижу. Стекло обмерзло. На улицу глядит просто матовый квадрат. Я перестаю чувствовать время...

Но вдруг песня обрывается. Скрипит одна дверь, потом другая. На снег выпрыгнул большой пушистый кот. В пролете двери я вижу девушку. Она в длинном обшитом мехом халате. Она нерешительно смотрит, словно не знает — спросить ли, что мне нужно, или уйти, закрыв дверь. Наконец она решается:

— Вам кого?

Она произносит только два слова. Но я сразу угадываю тот мягкий бархатистый голос, который я слышал за окном.

— Мне... — Я внезапно заволновался. — Я от полковника Донского. Мне...

— Вас прислал папа? — спросила она, и на лице ее мелькнуло что-то похожее на радость.

— Он прислал белку, — пояснил я.

— Белку?!

Я кивнул головой и протянул вещевой мешок. И в эту секунду мне вдруг ужасно сделалось жаль и себя, и белку, и все на свете...

— Ой! Я вас морозу, — смутилась девушка. — Проходите.

Белка, белка. Лучше бы тебя не ловили...

Не знаю, зачем я прошел в дом. Натопленная комната. (Я замечаю, что сделался чувствительным к температуре.) Уютная, чистая. Сиреневый свет падает на высокую постель, на ковры с пряничными домиками. На диване лежит гитара. У дивана девушка. Волосы у нее светлые, волнистые. Слегка подкрашенные губы и ресницы. Она не решается предложить мне сесть и беспомощно стоит у дивана. Я смутил ее своим видом. Он у меня неважный. Прошлой ночью я подпалил шинель. И теперь запросто мог наследить в чистенькой комнате. Я три дня не брился и не мылся. Флюс разделал меня лучше всякого карикатуриста.

Я заспешил. Развязал мешок. Белка выпрыгнула. И начала с любопытством разглядывать комнату. Девушка вскрикнула от восторга. Потянулась к белке. Белка прыгнула на диван, а оттуда на стеклянный сервант с посудой. Фарфоровая статуэтка — девица с обнаженными ногами — качнулась, упала на пол.

— Не прыгай! Сиди смирно! — пригрозила пальчиком хозяйка и повернулась ко мне.

— Лиля, — протянула она руку.

— Слава, — ответил я, но руки не подал. — Знаете, я не мыл их трое суток...

Я решил поразить ее откровенностью. Она улыбнулась.

— Умывальник в коридоре.

— Спасибо. Но я не смею стеснять вас...

Не трудно представить мою физиономию во время этого «великосветского» обмена репликами. Лиля засмеялась. И уже совсем просто взяла меня за плечи и вывела в коридор.

— Снимайте шинель. Вот умывальник... Я напою вас горячим чаем с малиновым вареньем. Вы любите малину? Здесь ее уйма. Я собирала...

Губы у нее были, наверное, лучшие в целом мире.

— И потом вы просто обязаны помочь мне поймать белку. Не то она перебьет всю посуду.

Чай с вареньем. Варенье в розетках с хрустальными цветами. Сопит электрический чайник. Лилия подкладывает мне пирожки, а я, забыв о приличии, уничтожаю их с волчьим аппетитом.

Белка по-прежнему сидит на серванте. Она закрыла глаза. Она спит. Может, ей снится лес...

А мне лес ни к чему. Я захмелел от горячего чая. Я сижу на стуле и пью чай из горячего блюдца... Я смотрю в красивые глаза Лили. Они голубые. В них что-то чувствуется, желанное и близкое... С такой девушкой можно быть счастливым.

— Нет, это не счастье, — вдруг говорит Лилия. Может, она читает мои мысли? Я слышал, есть такие способные люди. Но в данном случае едва ли. Просто я потерял нить разговора. Задумался.

— Здесь очень скучно, — говорит Лилия. — Как в монастыре. Мать зовет меня в Ленинград, а мне не хочется ее видеть. И папе так одиноко... Единственное, что меня утешает, — это рисунки.

Лиля снимает с этажерки альбом и кладет его передо мной. Акварели! Этюды простенькие, но с настроением. Смотришь, и очень хорошо делается...

Я говорю это Лиле. И еще говорю, что рисует она чудесно и что это надо послать куда-нибудь в журнал.

— Не стоит, — говорит Лиля. — Этой осенью я поступала во ВГИК.

Я говорю, что после армии тоже куда-нибудь поступлю.

Потом она предлагает:

— Давайте я вас нарисую...

И тут я вижу в зеркале чье-то красное, пухлое лицо. И вспоминаю, что это я.

— В таком виде... Нет. Мне пора, — спохватываюсь я.

— Сидите, — тоном, не допускающим возражения, говорит Лиля.

— Но мне действительно пора в санчасть... Меня будут искать.

— Я приду к вам завтра, — сказала Лиля. — Только вы не брейтесь.

— Если это нужно для искусства...

Я поднялся. И как-то машинально взял с дивана гитару. Я немного играю на гитаре. Прошелся по струнам. И стал наигрывать мелодию песенки, слышанной мною за окном. И Лиля стала негромко напевать.

Счастье где-то бродит по дороге

И приходит снова на порог...

Ей очень идет обшитый мехом халат. И вот эта задумчивая улыбка. Хорошо быть молодым и иметь жену блондинку.

Приходит соседка. За спичками.

— Спички в коридоре.

Соседка с любопытством смотрит на нас. Надо уходить. Лиля больше не задерживает меня.

Белка остается на серванте...

ПОПУТЧИЦА

Я завидую ребятам, которым все в жизни ясно и понятно. Это, наверное, потому, что не принадлежу к их числу, что лишен способности предвидеть, склонен путать и впадать в ошибки.

Я раскрыл дверь и влетел в санчасть, словно у меня выросли крылья. Сестричка в белом халате и в белой косынке подняла голову. И я замер от неожиданности.

Черные волосы. Глубокие глаза. Маленькое личико с узким подбородком.

— Маринка!

Да, это была та самая девушка, с которой я познакомился в поезде по дороге в Ленинград. Мы тогда долго болтали с ней в тамбуре. Она угощала меня семечками, я ее мороженым.

— Слава. — Она растерялась, покраснела, но, вне всякого сомнения, обрадовалась нашей встрече.

Я шагнул к ней и обхватил ее за плечи. Но она смутилась в моих объятиях. Мне сделалось неловко. Я понял, что больше никогда в жизни не обниму ее вот так, запросто, как могу обнять Истру или Асирьяна.

— Как ты сюда попала, Маринка?

— Я всегда жила здесь.

Она хлопала длинными ресницами и нескладно прятала руки.

— Отлично. Докладываю, рядовой Игнатов в ваше распоряжение прибыл.

— Порядок прежде всего, — сказала она, играя в начальника, как мы, мальчишки, когда-то играли в Чапаева. — Снимите шинель. Я запишу вашу фамилию. Потом примите ванну...

Она хмурила брови, но глаза у нее были совсем не злые, и, прикусив кончик языка, старательно водила ручкой в книге больных. Записав фамилию, имя, отчество, год рождения, она тяжело вздохнула и, посмотрев на меня, совсем дружески сказала:

— Тебе нужно побриться...

— А может, нет, Маринка, — возразил я, вспомнив наставления Лили.

— Посмотри в зеркало, ты похож на... — Маринка запнулась.

— Раз я похож на... Я побреюсь.

— Вот и хорошо. А пока я приготовлю ванну.

Она оставила дверь открытой. Я слышал, как журчала вода и Маринка напевала какую-то веселую песенку...

Я побрился, принял ванну. Надел халат, безобразный, как и все его больничные собратья.

— Врач придет утром, — сказала Маринка. — А пока пополощи рот шалфеем. И прими аспирин и пирамидон...

— А может, мне нельзя принимать пирамидон, может, он мне противопоказан...

— Пирамидон всем можно, — убежденно ответила Маринка, — тонизирующее средство.

Маринка присела на край койки.

— Я думала, мы никогда не встретимся... — сказала она.

— Так не бывает... Если люди чего-то очень хотят, судьба обязательно идет им навстречу.

— Ты болтун, — улыбнулась Маринка.

Потом она взглянула на часы и заявила:

— Пора спать...

— Не уходи, — попросил я.

И она осталась. В палате лежал еще один больной. Но он давно спал, завернувшись в одеяло. Бледный свет луны падал сквозь замерзшие окна на стены. И лицо девушки (я лежал и смотрел на нее снизу) казалось мне таинственным и красивым.

Я взял ее руку. Маринка нагнула голову. Глаза ее блестели. И тогда я поднес ее руку к своим губам. Маринка выдернула руку и убежала.

«Обиделась или нет?» — гадал я.

...Меня разбудил шум за окном. Гудели машины... Я поднялся с постели... Наступал рассвет. Холодный воздух врвался в распахнутую форточку. Свет фар бил в окна, и окна плыли по стене, по потолку и потом исчезали в дальнем углу комнаты. Слышались отрывистые команды. Полк возвращался с учений.

Утром пришла Маринка, принесла термометры.

— Доброе утро, — сказала она. И улыбнулась.

Не обиделась, значит.

— Сейчас придет врач, — предупредила она. — Как твой флюс?

Однако бессовестный флюс пропал без всяких лекарств, словно воздух больницы сам по себе оказался целебным.

В палату вошел врач, крупный мужчина с выправкой строевого офицера. Он заглянул мне в рот. Сказал:

— Будем удалять.

Я понял, речь идет о моем зубе. Прищурился, врач щелкнул меня в челюсть и спросил:

— Больно?

Я кивнул головой.

— Хорошо, — удовлетворенно заметил он и щелкнул вторично.

— Ой! — вскрикнул я и едва не укусил его за палец.

— Но, но... Оставьте троглодитские замашки, — недовольно пробурчал врач.

Потом он смотрел второго больного. И, наконец, ушел...

Я ждал Маринку. Но она не появлялась до завтрака.

— Маринка, ты забыла, что существует наша палата, — печально заметил я.

Она легко сжала мою руку. И тут же, словно испугавшись этого жеста, покраснела.

— Мне всегда бывает плохо после завтрака, — сказал я.

— Хорошо. Я прослежу за вашим здоровьем, товарищ больной, — шутливо пообещала она.

Я ждал Маринку после завтрака. И она пришла. Но пришла хмурая и сказала, что меня ожидают гости. На мой вопрос, какие гости, она вымолвила:

— Накрашенные...

И демонстративно хлопнула дверь.

Я спустился вниз. В приемной сидела Лиля. На ней была темная шубка и такая же шапочка. Из-под шапочки выбивались светлые волосы. Прихваченные морозом, они казались отлитыми из золота. Она поднялась мне навстречу и разочарованно сказала:

— А вы побрились...

И, увидев ее глаза, красивые и голубые, я почувствовал себя виноватым. Таким виноватым, будто взаправду совершил тягчайшее преступление.

— И флюс спал...

Делаю жалкую попытку сострить:

— Зато я в халате.

— Все больные в халатах... Это не представляет особого интереса для художника. А вчера вы были незаменимым типажом.

— Для вас он тип, а для нас больной, — решительно заявила Маринка. — Мы обязаны заставить его побриться и вымыться...

Лиля повернула голову в ее сторону. И в глазах Лили Маринка без труда могла прочесть: «А вас не спрашивают, девочка». Потом она вновь посмотрела на меня и сказала:

— Хорошо. Я нарисую вас в халате.

— Здесь не рисовальня, а больница. Никто не позволит заниматься здесь художествами, — не унималась Маринка.

Лиля вновь с некоторым удивлением посмотрела на Маринку и, чему-то улыбнувшись, сказала:

— Я договорюсь. Минуточку...

Она скрылась в кабинете врача.

— Маринка... — позвал я.

Но Маринка, насупившись, вышла из приемной. Дверь из кабинета врача отворилась. Лиля с улыбкой взглянула в мою сторону. За ее спиной показался врач. Он крикнул:

— Маринка, пропустите в палату художника.

— Слава, вы сядете у окна, — говорит Лиля. — И не смотрите на меня так...

— Я хочу помочь вам снять шубу.

— Спасибо.

Я помогаю Лиле снять шубу. Вешалки в палате нет. Я кладу шубу на кровать. Лиля остается в брюках и джемпере. Она раскрывает альбом, садится на табурет и, закинув ногу за ногу, кладет альбом на колени.

— Однако вы быстро попали под влияние этой девочки, — говорит она словно между прочим.

— Я такой, — говорю я. — Я легко попадаю под влияние девочек.

— Эта ваша девушка очень ревнивая, — говорит Лиля и делает первые штрихи в альбоме.

— Ерунда. Она принципиальна по долгу службы...

— А я думала, она влюблена в вас, — улыбка дружит с Лилей.

Она склоняется над альбомом и смотрит на меня из-под бровей. Она необыкновенно красива. И она знает это.

Солнце сеет лучи на впаханных морозом окнах. Свет, проникающий в палату, выглядит непрочным и искусственным.

Лиля поднимается и показывает мне рисунок.

— Похож? — спрашивает она и смеется глазами.

Я придирчиво разглядываю себя.

— Вообще да...

Мне хочется сказать еще что-нибудь. Но я как замороженный смотрю на Лилю и вдруг чувствую, что ей тоже передалось будоражащее душу настроение. Я смотрю на нее и вижу, как блестят ее губы и глаза...

Не знаю... Но могло случиться все что угодно, если бы в тот момент дверь не отворилась... И в палату без стука ворвался Мишка Истру.

— Привет, лазаретник! — крикнул он. Но вдруг, узнав Лилю, внезапно осекся.

— Знакомьтесь, — небрежно говорю я. — Мой друг Михаил Истру.

Они пожимают друг другу руки. Истру делает мне глазами знаки, подчеркивая непостижимость происходящего.

— Угадываешь? — Я показываю Мишке рисунок.

— Это ты, Славка! — Он поворачивается к Лиле и говорит: — Никогда не думал, что в таком маленьком гарнизоне может скрываться такой крупный художник.

— Я не люблю, когда надо мной смеются, Миша, — говорит Лиля. Она говорит это шутя, но в голосе ее чувствуются угрожающие нотки. Нет, эта девушка не даст себя в обиду.

— Лилечка, я от всего сердца... — И Мишка насильно пожимает ей руку.

— Славка, — говорит он. — У меня есть колоссальная новость. Сегодня майор Гринько вызвал добровольцев в полковую художественную самодеятельность. Нам предстоит дать антисамогонный концерт в селе Зайцево.

— Почему нам?

— Я записал тебя и себя.

— Падаю, Миша! В один прекрасный день ты запишешь меня в загсе.

— Я этого не сделаю, — говорит Истру и почему-то подмигивает Лиле.

Лиля говорит:

— Миша поступил правильно. У нас хорошая самодеятельность. Я тоже участвую...

— Я это чувствую, — заявляет Истру. — Мне

интуиция подсказывает. Не горюй, Славик, наш успех обеспечен. Мы прогремим и в полку. Нас повезут и на окружной смотр. Мы будем жить в номере с телевизором, ночным светом. И будем мыться в ванне на казенный счет... И все очень просто: твой аккомпанемент, моя интерпретация.

— Дорогой М. Истру! — восклицаю я. — У меня начисто отсутствует голос.

— Зачем он нужен, спрашиваю? Это совершенно лишнее для эстрадных куплетистов. Достаточно того, что ты солируешь на гитаре...

— Я бренчу, а не солирую...

— Он хорошо играет, — вступает в разговор Лиля.

— Делайте со мной, что хотите, — говорю я и опускаюсь на койку. — Но из санчасти меня не выписывают.

— Ничего, — говорит Мишка, — выпишут.

Лиля берет с кровати шубу и с помощью обходительного Истру надевает ее.

— До свидания, — весело прощается она и уходит.

— Черт тебя принес, — говорю я Мишке.

Он смотрит на меня немного обалдело и шепчет:

— Как ты познакомился с ней? Ты просто гений...

В полку говорили: «Трудно попасть в санчасть, а еще труднее выписаться оттуда».

Зуб мой уже давно покоился в эмалированной урне, а я по воле любопытного доктора, обнаружившего у меня бронхит, все носил больничный халат, валялся на койке и в третий раз перечитывал куп-

ринскую «Гму», единственную книгу, воистину неисповедимыми путями оказавшуюся в санчасти. Я нашел ее за печкой, среди вороха старых газет, предназначенных на растопку.

— Что читаешь? — спросила Маринка, заглянув в палату. Она уже больше не дулась и приходила ко мне.

— Книгу, — ответил я, переворачивая страницу, где какой-то дилетант пытался нарисовать голую женщину. Он рисовал ее посплоявленным химическим карандашом, оставив для потомства отпечатки грязных пальцев.

— «Яма», — прочитала Маринка. — Санкт-Петербург... Такая старая. Можно мне посмотреть?

— Здесь нет картинок.

— Все равно.

— Нельзя.

Я отстранил руку. Маринка сделала вид, что не интересуется книгой. Спросила:

— Ты принимал таблетки?

— Принимал.

— Скажи, это правда, что художники рисуют обнаженных людей.

— Все великие и невеликие художники поступают именно так.

— Но ведь стыдно...

— Предраассудки, — ответил я. — А почему ты этим интересуешься?

— Просто хочу все знать.

— В Ленинграде есть Эрмитаж. Музей в общем такой... Там много любопытного.

— Зайду при случае, — пообещала Маринка и вдруг, изогнувшись, выхватила книгу и, как юла, завертелась по комнате.

— Ха-ха, — смеялась она, размахивая книгой. Книга распахнулась, и, конечно, на той самой странице. Так бывает всегда.

— Твои художества? — спросила Маринка, разглядывая рисунок.

— Ну, допустим...

— Лиля научила.

— Настолько я и сам умею, — возразил я. — Но ответь мне, Маринка. Только честно. Тебе не нравится Лиля?

— Что ты? Я ее обожаю. Она мне платье хотела подарить. Только я оказалась гордой и не взяла. Просто... Я что-то знаю. И не скажу.

Маринка бросила мне книгу.

— Любуйся...

— Я не думал, что ты такая злюка.

— Я не лучше других... Но перед Лилей у меня есть преимущество.

— Какое?

— Я не рисую обнаженные фигуры. Она тебя тоже без халата рисовала? — Маринка показала язык и хлопнула дверью.

«Рисует обнаженные фигуры, — думал я над словами Маринки. — Специфика искусства. А Маринка просто глупа».

ЯБЛОКИ

Я выписался накануне присяги.

Еще с вечера у всех ребят в роте чувствовалось настроение, не похожее на обычную субботнюю успокоенность, когда уборка закончена, в клуб старшина разрешил не идти и ты сидишь на стуле в

ленинской комнате, где друзья задумались над шашками или письмами... И стоит тишина, какую можно услышать лишь после отбоя.

В тот вечер все было не так. Все было, как перед Первым мая, Новым годом... И в глазах у ребят искорки, словно мы поем песни. А песни мы совсем не поем. Мы драим пуговицы, бляхи. Подшиваем подворотнички... Была команда. Но если б ее и не было, все равно предстоящее утро мы встретили бы в наилучшем виде. Завтра нас ожидает день — один из тех, которые не повторяются дважды в жизни...

Мы стоим в двухшереножном строю, торжественные и серьезные. Выходим на середину. Читаем текст присяги. Но голос иногда срывается. Это понятно. Мы волнуемся. Мы произносим слова, простые и не новые, как объяснение в любви.

Верно! Это и есть объяснение в любви. Только не девушке. А вон той березке, белке, снегу, железнодорожному гудку, друзьям и песням. Всему, что зовем мы одним большим словом — Родина.

Я вспомнил день. Давний день. Сорок второго года. Тогда мне едва стукнуло семь лет. А Туапсе бомбили по десять раз в сутки. Недалеко от нашего дома располагалась воинская часть. Сиреневые кисти глицинии свешивались над длинным решетчатым забором, окаймлявшим двор. А во дворе стояли солдаты. Много солдат. Они были построены буквой «П». Они выходили на середину двора, читали присягу и целовали знамя...

А несколько дней спустя на этом дворе расстреляли предателя. Я не знаю, что он там натворил. Но... Солдаты, как и в прошлый раз, были выстроены буквой «П». Где-то в центре, по линии между

правым и левым флангами, была выкопана яма подчеркнуто неопределенной формы.

Предателя вели вдоль строя. У него было обросшее лицо и руки, связанные за спиной. Он резко и часто поворачивал голову из стороны в сторону, словно еще не верил в то, что должно было случиться. Он был не страшен. Наоборот, его скованные движения напоминали прыжки загнанного зайца. Его поставили на колени у самого края ямы. И стали читать приговор. Стоя на коленях, он продолжал вертеть голову из стороны в сторону. И ничего не говорил. И чем скорее приближался приговор к концу, тем быстрее и бессмысленнее становились его движения...

Маленький бледный капитан, чем-то напоминавший нашего соседа — учителя пения Вадима Владимировича, выстрелил ему в затылок из автомата... Я молчал потрясенный. Был август сорок второго года. В городе пахло морем и жженым деревом...

Потом все это разбомбили — и двор, и глицинию, и казармы. Тело капитана, похожего на учителя пения, нашли у нас в саду под срезанной осколком сливой.

Все было очень давно. И мне больше не снится тот поросший глицинией двор. Но молодых солдат, которые проходили через наш город сражаться, я помню отлично. Иногда они ночевали у нас. Тогда в доме горел костер. Дом был разбитый. Без крыши, без пола... Солдаты жгли костер прямо на земле.

Мы, мальчишки, дружили с солдатами. И немного завидовали им. Как-то вечером я увидел в проеме окна трепещущий отблеск пламени. Мино-

вав разрушенную пристройку, я пробрался в дом. Солдаты спали у стены, привалившись друг к другу. И только один — без шапки — сидел у костра и читал книгу. Он был стрижен наголо и казался особенно молодым. Он обернулся на шум шагов. Посмотрел на меня красными, усталыми глазами и дружески сказал:

— Здорово, пацан!

— Хочешь, я принесу тебе яблок? — сказал я.

Яблоки лежали в подвале. Мы прятались там от бомбежки. И я спал на опилках, в которых дозревали яблоки.

Он кивнул. И я принес ему с десятков больших яблок.

— Как с выставки, — сказал он. И разбудил щуплого обросшего армянина. — Отведай, Ашот.

— Молодэц, — похвалил меня Ашот, надкусывая яблоко.

— Что же тебе подарить? — сказал солдат, стриженный наголо.

«Гранату», — подумал я, но смолчал.

— Подарю эту книгу... Только не сейчас, а когда дочитаю.

Я с грустью посмотрел на обтрепанную, в выцветшем переплете книгу и сказал:

— Ладно.

Солдат вдруг скосил на меня глаза и весело воскликнул:

— Постой! А ты читать умеешь?

— Не умею... — вздохнул я.

— Ничего. Научишься... Здесь про одного паренька написано. Фамилия Корчагин. Редкостной силы книга!

Костер бросал на стену длинную безликую тень.

Она дрожала, словно мы ехали по тряской дороге. Ашот вырезал из газеты голубя. Стриженный наголо солдат грыз яблоко и читал книгу...

Прошло два месяца. Наступила дождливая зима, когда я опять увидел Ашота. Он был ранен в правую руку. Я спросил:

— Где ваш товарищ?

— Он прислал тебе книгу, — сказал Ашот и попросил развязать вещевой мешок.

Вечером (я теперь уже учил азбуку, терпеливо складывая буквы в слоги) я прочитал название — «Как закалялась сталь». Знакомство с Павкой Корчагиным состоялось.

Павка был бойцом. И мы бойцы, или, как сейчас говорят, солдаты. А солдатам положено принять присягу на верность Родине.

Я вижу на себе взгляд лейтенанта Березкина. Пора, значит.

Четким шагом я вышел из строя. Несколько секунд сафьяновый переплет дрожал в моей руке. Несколько секунд, не больше. Твердым и громким голосом я начал:

— Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик...

АРТИСТЫ

Я мог бы опустить эту главу. Ибо хорошего в ней мало. Но ведь жизнь не ковровая дорожка. В жизни всякое случается. А поскольку выдавать черное за белое всегда плохо, будем считать, что я оставил эту главу исключительно в порядке самокритики.

Наша артистическая карьера началась в тот

день, когда Истру записал себя и меня в кружок художественной самодеятельности. Разумеется, мы не составили грозной конкуренции Шурову и Рыкунину, Тарапуньке и Штепселю, но в масштабах гарнизона обрели известную популярность. Когда мы шли на репетицию или обратно (это был единственный путь, который теперь мы проделывали вне строя), на нас показывали пальцами и шептались: «Это те самые, что сачков высмеивают...» Повара и хлеборезы взяли нас под особое покровительство. Даже полковой сапожник, Лешка Шароваров, парень заносчивый и гордый, и тот однажды зазвал нас к себе в мастерскую и говорит:

— Давайте я вам подковки подобью.

Но больше всего меня радовала наша дружба с Лилей. Лиля тоже участвовала в самодеятельности. И после нашего первого выступления она встретила нас за кулисами. В черном концертном платье она была похожа на королеву. Я никогда не видел королев, но все равно. Лиля пожала нам руки и сказала, что она довольна нами. Когда она говорила это, глаза ее светились, как у кошки, — искристо и ласково. Даже очень ласково. Жаль только, что смотрела она одновременно на нас обоих.

Неприятность случилась под Новый год. Был концерт. Когда он окончился, я и Мишка вышли из клуба.

Стояла лунная ночь. Земля была белой-белой. Блики падали на верхушки сосен, на крышу кирпичи, в которой помещался полковой клуб. Во дворе строились подразделения. Мы слышали, как кто-то из солдат пел только что исполненную нами песню:

Люблю, друзья, три слова я:
Кино, отбой, столовая...

И нам было приятно, что эта шуточная песенка, придуманная нами на мотив «Школьного вальса», уже полюбилась кому-то и запомнилась.

Подошла Лиля. Она сказала:

— Мальчики, ко мне приехала подруга из Выборга. Мы вместе учились в школе... Я приглашаю вас на встречу Нового года. Не пугайтесь, мы будем только вчетвером.

— Почему именно нас? — глупо спрашиваю я.

— Моя подруга такая изысканная особа, что в этом захолустье доверить ее можно только Мишке. — Лилия поворачивает голову к Истру. — Когда она узнала, что твой отец профессор, доктор экономических наук, это подействовало на нее неотразимо, как команда... Сейчас она занимается сервировкой стола.

— Спасибо, Лилечка, — говорит Мишка. — От моего предка спасибо... И я... Я никогда не забуду этой минуты.

— Мой отец уехал в округ, — торопливо говорит Лилия, словно боится, что мы откажемся.

Мишка восторгается:

— Совсем прекрасно!

— Может, и прекрасно. Но кто нас отпустит? — говорю я.

— Сержант Лебедь, — отвечает Истру.

— Нет, не могу, — говорит Лебедь и поворачивается к нам спиной.

— Товарищ сержант, вы убьете меня своей непреклонностью. И по ночам вас будут мучить кошмары, — говорит Истру.

— Не могу. Не имею права. Проситесь завтра у командира роты.

— Но нам нужно сегодня, — робко вставляю я.

— Всем нужно сегодня... Я не могу отпустить вас на всю ночь.

— Отпустите на час, — просит Истру.

Сержанту надоел этот диспут. Он зажигает спичку и устало говорит:

— Отбой!

Мы быстро раздеваемся. Спичка догорела. Но мы уже лежим под одеялом. Не фокус, а тренировка. Лебедь уходит. В дверях тускло мерцает дежурная лампочка. Она окрашена в синий цвет. Тишина. В казарме стоит запах сырых портянок. Специфический запах. Его не спутаешь с другим. Свистяще храпит Асирьян. А мы не спим.

Истру глядит в окно. Истру вздыхает. Я подхожу к окну. И мы оба, сверкая белыми подштанниками, смотрим в окно. Мы видим, как ели, сосны, закутавшись в заячьи шубки, друг за дружкой спускаются к озеру. Оно, небольшое и теперь занесенное снегом, напоминает поле стадиона.

Где-то далеко светятся окна. Там горят не дежурные лампочки. И когда подумаешь об этом, делается грустно.

— Скоро двенадцать, — в пустоту говорит Мишка.

— Давай спать...

— Нас ждут...

— Заряжай! — кричит кто-то во сне и неожиданно добавляет: — Не надо сдачи...

Мы лезем на койки. Натянув на голову одеяло, Мишка говорит мне:

— Минут через пять иди в уборную...

Уборная у нас на улице, за казармой. Отправляясь туда, мы надеваем сапоги, шапку. И прямо на нижнее белье накидываем шинель. Только так можно выйти ночью из казармы, не возбудив подозрения дежурного.

— Захвати пояс, — слышу я голос Истру.

Пояса в уборную обычно не берут. За ненадобностью.

Проходит минута, вторая... Сура уже лежит на боку и не храпит, будто прислушивается. Я осторожно спускаюсь с нар. Нащупываю сапоги...

Широко распахнув шинель, словно демонстрирую свое нижнее белье, я прохожу мимо дневального. Зеваю, потягиваюсь...

Морозный воздух щекочет грудь. Я запахнул шинель, подпоясался.

Я стою в тени, за казармой. Луна. И тихо. Так тихо, будто старый год, отслужив свое, унес в вечность все звуки.

Хлопает дверь. Да, это Истру. Он тоже подпоясался ремнем. Если не знать, то со стороны совсем незаметно, что он в нижнем белье. Только холодно. Но с трудностями надо бороться.

— Пойдем! — говорит он.

— Это самоволка, — чувствуя укоры совести, говорю я.

— Чепуха. За пятнадцать минут мы сбегает туда и обратно. Главное — предупредить девчат да извиниться перед ними. А если в казарме засекут, сошлемся на расстройство желудка. Гляди в оба. Не дай нам бог напороться на дежурного по гарнизону.

Мы идем по пустынной дороге. Кругом нас вы-

сокие деревья. Они похожи на великанов. А мы такие маленькие...

Вот дом. Здесь живет Лиля. Справа ее окно. Мы стучимся в окно. Лиля открывает дверь и стоит на пороге.

— Смелее, мальчики! — улыбается она, подбадривая нас взглядом.

Мы нерешительно переминаемся с ноги на ногу. Наконец Истру говорит:

— Лиля, нас не отпустили. Глупо, но мы пришли сообщить именно этот прискорбный факт. Желаем счастья тебе и твоей подружке. А мы скрываемся...

Я стою сзади, покусываю губу и смотрю на Лилю. Ее лицо омрачилось. Неужели ей действительно хочется встретиться с нами Новый год?

— Раз пришли, зайдите хоть на минутку...

— Если только на минутку... — мнемся мы, глядя друг на друга.

— Снимите шинели, мальчики. У нас жарко.

— Что ты, Лиля, — ужаснулся Истру. — Это невозможно! Ты подбиваешь нас на преступление.

Лиля проводит нас во вторую комнату. На краю стола, закинув ногу за ногу, сидит девушка в брючках и джемпере. У нее мальчишеская прическа. И узкий, словно заточенный, каблук. В руке девушка держит длинную болгарскую сигарету с золотым ободком и смотрит на нас любопытными глазами.

— Знакомьтесь, — представляет нам девушку Лиля. — Тая...

Не слезая со стола, Тая протягивает руку и вместо приветствия говорит:

— Мальчики, вы не в дзоте... Вешалка в коридоре.

— Я бы многое дал за то, чтобы выполнить ваше пожелание, — заверил Истру.

— Они забежали на минутку, — пояснила Лилля. — Их не отпустили...

— Этого только не хватало... Порядки! Не будем терять времени, — заявила Тая и соскользнула со стола.

Мода — явление непостоянное и крайне стихийное. С этим трудно не согласиться. Науке многое известно о Марсе. Климат, атмосфера, снеговые шапки... Но какие шапки носят жители Марса и носят ли они сапоги, жакеты, бюстгальтеры, об этом не скажет ни один астроном и даже академик.

А попробуйте объяснить покрой современного европейского костюма для мужчины у нас на земле. Почему пиджак застегивается спереди, а не сзади. Удобнее?! Всегда ли? Почему к пиджаку полагаются брюки, а не юбка, как у шотландцев?

Географическое положение страны, особенности ее культуры, традиции...

Нет. Что бы ни говорили историки мод, но могло случиться так, что наиболее изысканным туалетом современного мужчины считалась бы серая шинель и... подштанники. Шанс лотерейный, однако не более, чем всякий другой.

К сожалению, этого не случилось.

А потому, пробираясь к столу, сервированному с ресторанной роскошью, я старательно запахивал полы шинели. И не без оснований опасался, как бы мой странный туалет не шокировал хозяйку дома и ее подругу.

Этого нельзя было сказать о Мишке. Он чувст-

вовал себя в своей стихии. Без труда стал центром нашей маленькой компании. Жесткий регламент не позволил сделать вступление. И он с ходу стал рассказывать о кинокарьере француженки Бардо. Он рассказывал и смотрел на Таю. Он обладал врожденной интуицией и мог безошибочно определять интеллектуальные запросы своих партнеров. Юная кретинка не могла скрыть удивления. Истру восхитил ее. Вот что значит читать польские журналы. А Истру читал...

— Бом! Бом! Бом!

Ударили старые часы с римскими цифрами и медным, похожим на половник маятником. Фарфоровая статуэтка, девица с голыми ногами, глядела на нас с серванта. С того самого серванта, на котором когда-то сидела белка.

— С Новым годом! Да сопутствует вам счастье...

Лиля поднесла к губам бокал и смотрела на меня из-под опущенных ресниц насмешливо и чуть-чуть задиристо. И тогда не знаю и не хочу знать почему, я вдруг понял, что люблю ее. Люблю за то, что она красивая.

Коридор гауптвахты освещала маленькая лампочка под потолком. Она была такая тусклая, что казалась нарисованной.

Мишку втокнули в комнату и заперли.

Я стоял в начале коридора, прислонившись к стене, и с любопытством смотрел на приближающихся конвойных. Из комнаты начальника караула доносились обрывки телефонного разговора.

— Товарищ подполковник, — кричал в трубку

начальник караула, — здесь двух солдат привели в нетрезвом состоянии. Документов при них нет. Они в нижнем белье и в шинелях. Считают, что задержаны незаконно. Грозятся жаловаться. Пусть грозятся?.. Да, да... Я посадил их в отдельные камеры.

Конвойные заперли меня в комнате напротив Истру.

Комната была маленькой. Около метра в ширину и метра два с половиной в длину. Здесь тепло, даже жарко. Свет не горит. Заботливые конвоиры опустили нары. Я постелил шинель и лег на спину. Приятно после мороза очутиться в натопленной комнате и лежать вот так, раскинув руки и ноги. Я думал, гауптвахта страшнее. Хороший какой-то человек придумал гауптвахту. Сохранилось ли имя его в истории?

Я смотрел в темноту, и временами мне казалось, что я опять в родном Туапсе. Лежу на берегу моря и принимаю тепловые ванны.

Я был возбужден. Сон не брал меня. Я вспоминал события вечера. И воспоминания эти казались обрывками какого-то эксцентрического спектакля.

Эх! Как было бы хорошо, если б после второго тоста мы простились и отправились в казарму. Но мы дважды повторили тост. А потом Тая предложила выпить на брудершафт. Я поцеловал Лилю в лоб. Но она сказала, что в лоб целуют только покойников. Тогда я поцеловал ее в губы. А Мишка целовал Таю.

Некоторое время спустя Лиля показывала нам свои этюды. На одном из них был изображен женский торс.

— Это Тайка, — шепнула мне Лиля на ухо.

Тайка смеялась и требовала от Мишки новых

анекдотов из жизни знаменитостей кино. Истру клялся, что на «Молдова-фильме» он свой парень. И обещал устроить Тайку на главную роль в музыкальной комедии.

Внешне все было хорошо. Но минутная стрелка ползла по циферблату и момент кульминации приближался, как во всяком порядочном спектакле.

Он наступил тогда, когда Мишка, забыв, что он в кальсонах, откинул полу шинели и полез в несуществующий карман за папиросами.

Девушки были не настолько пьяны, чтобы не заметить этого. И не настолько трезвы, дабы сделать вид, что ничего не случилось. Тая завизжала и крикнула:

— Ну, это уж свинство. Когда он успел раздеться?..

Лиля вскочила со стула, упала на диван. И каталась в спазме дикого смеха. Вероятно, она оказалась сообразительней своей подруги.

Мишка растерянно вращал глазами. Я назвал его растяпой, схватил шапку и выбежал из квартиры.

Истру последовал за мной. Это была его вторая ошибка. В тот момент, когда он выскочил из дома, я стоял навтыяжку перед раздраженным подполковником Хазовым и силился ему объяснить, почему и что я здесь делаю.

Хазов заметил Мишку и подозвал.

— Да вы пьяны... — сказал он, шмыгнув носом. С его помощью мы добрались до гауптвахты.

Остаток ночи прошел без приключений. А утром Сура принес нам обмундирование.

— У меня родилась дочь, — сообщил Сура.
— Поздравляю, — сказал я.
— Это не мои штаны, — сказал Мишка.
— Штаны твои, — возразил я.
— Я хам, — сознался Истру. — Поздравляю тебя, Сура. Дети — это опора в старости.

— Однако, как сказал мой дед Ардаваст на 122-м году жизни, на эту опору лучше не опираться.

— Все равно поздравляю, — сказал Мишка. — Я бы поцеловал тебя, но у меня язык в чернилах.

— Скажи, когда нас кинулись искать в казарме? — спросил я.

Оказалось, что в казарме наше исчезновение обнаружили только на подъеме. Сержант Лебедь недоумевал: штаны и гимнастерка на месте, а люди как в воду канули. Расстроенный сержант позволил дежурному по части. И доложил, что в его отделении... таинственно исчезли двое солдат.

— Ну, я бы не сказал, что таинственно, — возразил дежурный. Он возразил весело, ибо был убежден, что ни один праздник без ЧП не обходится, и любил при случае повторить это.

— Для меня все ясно как день, — сказал он сержанту Лебедю.

То же самое он ответил начальнику караула, когда тот сообщил, что Мишка Истру набрал в рот казенных чернил.

Вместе с обмундированием Сура передал нам по пачке сигарет. Мы осмотрительно спрятали их в погоны. Там же, в погонах, хранились спички и серка.

Часов в десять пришел начальник гауптвахты младший лейтенант Кокшин. Арестованные называли его между собой «микромайором». Записки об

аресте на нас еще не поступили. Однако Кокшин был в курсе дела. Он старательно обыскал нас, даже заставил перемотать портянки. К счастью, пощупать погоны он не догадался. Ничего запретного не обнаружив, Кокшин ушел.

— Закурим, друг, — сказал в своей камере Мишка. Он чувствовал себя прескверно и не понимал, почему у него в чернилах язык.

Не успел Мишка закурить, как Кокшин вдруг вернулся. Повел носом. Учуюл табак. И спросил:

— Кто курит?

— Я, — сказал Мишка.

Но Кокшин, обезоруженный наглостью, прошел мимо, заглянул ко мне, потом еще в две-три камеры и только потом, сообразив, в чем дело, он подошел к Мишкиной камере и сказал:

— Значит, это ты куришь?

— Я.. Только не в затылку, — ответил Истру. Кокшин открыл дверь.

— И папиросы у тебя есть?

— Сигареты.

— А где они лежат?

— Не скажу, — ответил Истру голосом Красной Шапочки.

— Выворачивай карманы, скидай сапоги...

Прошла минута. Я слышал пыхтение Мишки. Он всегда пыхтит, когда разувается. Еще минута... Я понял, обыск не дал результатов.

Мишка снова закурил.

Кокшин еще дважды обыскивал его.

«Нашла коса на камень», — подумал я.

Кокшин увел Мишку в свой кабинет.

Мишка не возвращался долго.

Я сидел на табуретке и слагал песню. Бумаги не имел. Слагал песню в уме, как народный акын. Беззвучно шевелил губами. И думал, сколько суток дадут мне и Мишке. Учитывая сегодняшний инцидент с курением и чернилами, следовало полагать, что Истру заработает суток на пять больше.

Мишка не возвращался.

Пришел выводной. Открыл дверь моей камеры и сказал:

— К начальнику гауптвахты.

Чтобы попасть в кабинет начальника гауптвахты, нужно было выйти на улицу, миновать небольшой дворик и подняться на крыльцо.

Во дворе ходил часовой. Он охранял вход в караульное помещение. Если во дворе появлялся посторонний человек, часовой кричал:

— Помощник начальника караула, на выход!

Я поднялся по ступенькам. Негромко постучал в дверь.

— Войдите! — услышал я голос Мишки.

Я открыл дверь. Мишка сидел на диване, закинув сапог на сапог, и курил папиросу. Начальника гауптвахты в кабинете не было.

— Кури! — Истру указал на распечатанную пачку «Беломора», которая лежала на столе.

Я ничего не понимал.

— Видишь эти инструкции и картонки? Нам следует соединить их при помощи клея...

— Где начальник? — спросил я.

— Пошел выяснять, сколько нам отпустили.

— А почему ты здесь?

— Я попал в доверие...

— Пожертвовав тайной сигарет?

Мишка возмутился:

— Ты обо мне плохо думаешь! Все было иначе...

Кокшин привел Мишку в кабинет. Истру стоял и со скучающим выражением лица смотрел на большой письменный стол, где, помимо уставов, инструкций, лежал раскрытый задачник по геометрии с применением тригонометрии и листок исписанной бумаги.

Кокшин читал Мишке инструкцию внутреннего распорядка на гауптвахте, тщательно подчеркивая то, что носить пояса и курить табак арестованным не разрешается.

Мишка, понаторевший в математике на подготовительных курсах, тем временем читал условия задачи и содержимое листка.

— А вот здесь ошибка, — вдруг сказал он. — Это отношение тангенса взято неправильно.

Кокшин, видно, долго мучился над этой задачей. Он охотно откликнулся:

— Где?

Мишка указал на чертеж. Потом взял карандаш, сделал несколько нужных вычислений и сказал:

— Готово.

— Ты математик, — обрадовался Кокшин. — А эту решишь?

Истру без особых трудов решил и вторую задачу.

Выяснилось, что Кокшин намерен экстерном сдавать за десятый класс и вообще хочет стать инженером. Мишка приветствовал подобную инициативу, напомнив, что учение — свет, а неученье — тьма.

Потом они договорились, что Кокшин пойдет

в штаб полка выяснять нашу участь. Мишка же может оставаться в кабинете, клеить инструкции. Мишка сказал, что ему скучно в одиночестве, Кокшин разрешил позвать меня.

— Мишка, — похвалился я, — в твое отсутствие я сочинил песню.

Мной недоволен кто-то,
В камере я, на «губе»...
И в записном блокноте
Песню слагаю тебе.
Верю, ты любишь, родная...

Кокшин вернулся к обеду. Он сказал, что командир полка дал нам по десять суток строгого ареста. Теперь, когда записки были налицо, порядок требовал, чтобы мы ушли в камеры.

УГОЛЬ

Лясничать я не умею. И еще петь не умею, И в шахматы играть тоже... Два последних недостатка кажутся мне безобидными, как детские игрушки, потому что я встречал многих людей, которые честно заявляли, что не умеют петь, не умеют играть в шахматы. С первым же дело обстоит сложнее. Каждый человек, порою не признаваясь лично, где-то в глубине души считает себя большим умницей. И, сложив морщинки над переносицей, любит произносить истины, когда-то познанные светлыми головами, но успевшие обветшать, как шинель к третьему году носки.

— Да... Жизнь — это дорога.

Нет. Каждый понимает, что нельзя приписывать себе открытие Америки. Что теорию относительно-

сти подарил миру Эйнштейн. Первый двигатель изобрел Уатт... А «Войну и мир» создал Лев Толстой. Великий писатель!

Но...

Жизнь действительно дорога. И какая разница, кто первый это сказал. В жизни есть спуски и подъемы. Повороты тоже есть. Главное, не клевать носом за рулем. Опасно!

Службу я начал, можно сказать, в дремотном состоянии. Гауптвахта разбудила меня. Спасительный поворот?.. К сожалению, я никак не вспомню, где и когда был этот поворот. Потому что не было крутого поворота — на сто восемьдесят градусов. Я покамест в книгах читал захватывающие истории, в которых люди попадали в такие обстоятельства, что перековывались за двадцать четыре часа и даже раньше...

У меня все было буднично, незаметно. Как, допустим, болел человек, а потом выздоравливать начал нормально, без всякого чуда. Разгрузку платформ с антрацитом чудом не назовешь.

Когда нас выпустили с гауптвахты, полк снова был на учениях. Он снялся по тревоге накануне утром. И мы с Мишкой Истру даже струхнули, что нас могут освободить досрочно и отправить с ротой. Однако нас не освободили. Возможно, забыли. А может, специально в воспитательных целях заставили отсидеть срок до конца.

Солнце, розовое, кругленькое, маленькое, висело как раз над крышей штаба, куда мы направлялись, чтобы сдать записки об аресте. Мороз жалился. Шинели наши цвели белой изморозью. Мы шли мимо дома, в котором встретили Новый год и стяжали десять суток гауптвахты. Мороз хозяйни-

чал над окнами. Они были лохматыми, как белые медведи. И чтобы видеть сквозь них, нужно дышать маленькое темное отверстие. Но никакого отверстия, похожего на точку, в окнах не было. Значит, нас не видели.

Навстречу шла прачка.

— Ты когда отдашь мне два рубля? — спросил Мишка.

— Какие? — удивилась прачка.

— Бумажные...

— Усохну! — засмеялась прачка и пошла дальше.

Всего в гарнизоне было четыре прачки. Женщины не первой свежести. С белыми, словно выстиранными лицами. Они жили над баней, в чердачных комнатах, прозванных голубятней.

К прачкам ходили солдаты. Это называлось «летать на голубятню». Я не летал... Мишка пробовал. Ничего не получилось. Дал займы два рубля. Посидел на стуле, послушал разболтанный магнитофон. И ушел не солоно хлебавши.

...Майор положил записки об аресте в папку, откинувшись на спинку стула, сказал:

— Это вы те самые... что на Новый год ублажать приходилось?

— Так точно, — доложил Мишка.

— Хорошо, — протянул майор. — Хорошо... Возвращайтесь в казарму. В распоряжение дежурного по роте. С ужина спать. По гарнизону не болтаться. Тем более что девушки ваши полыхнулись в Ленинград. Это я вам точно говорю.

Девушки наши. Я покраснел от этих слов. И долго повторял их про себя. И уснуть не мог...

Ночью кто-то появился в казарме. Долго ощупы-

вал стену, ища выключатель. Не нашел... В темноте ощупью пошел вдоль пустых коек. В левом ряду ни внизу, ни вверху никто не спал. Тогда он развернулся у окна. Сразу же оказался возле меня. Я сжался, точно ожидая удара.

— Кто вы? — шепотом спросил я.

— Дежурный по части, — так же шепотом ответил он.

Это был другой дежурный по части, моложавый капитан, не тот, которому мы сдали записки об аресте. «Сменился, значит», — успел подумать я.

Дежурный коснулся рукой моего плеча:

— Подъем! Работа есть...

Почему-то стало не по себе. Меня еще никогда не будили среди ночи и шепотом не говорили о работе. Мои глаза давно привыкли к темноте, и большое, перечерченное рамой окно казалось мне даже светлым. Но все равно я долго не мог попасть ногами в штаны. Замерз. И зубы стучали. Громко, громко. Словно солдаты, бегущие по лестнице.

Дежурный капитан подошел к другой койке. Склонился над солдатом и сказал то же самое, что и мне. Солдат не шевельнулся, только произнес магическое, как заклинание, слово:

— Наряд!

Капитан понимающе кивнул и направился к другой койке. Но теперь уже все солдаты (без меня их было шестеро) говорили:

— Наряд!

— Наряд!

И даже Мишка Истру, ничтоже сумняшеся, буркнул:

— Наряд.

Капитан, озадаченный таким оборотом, вышел из казармы, оставив дверь в коридор открытой. Раздраженно потребовал:

— Дневальный, укажите постели, на которых отдыхает наряд.

Через минуту несусветно обескураженный Мишка и еще двое солдат с позором были подняты и водворены в строй.

Дежурный ткнул в меня пальцем.

— Рядовой Игнатов, — сказал я.

— Вы старший группы, — объявил капитан, записывая мою фамилию. — Возьмете трех человек в муззводе. Одного у минометчиков. Писаря из третьей роты... И в 3.00 приведете группу в автопарк. Там я поставлю задачу. Выполняйте.

Писарь из третьей роты, бледный, худой очкарик, пришел сам. Он прислонился к панели у питьевого бачка. И болезненно морщился.

К минометчикам сбегал Мишка.

Домик муззвода недалеко от клуба. Дорога же в автопарк — в другую сторону. Я позвонил музыкантам и попросил прийти побыстрее. Они что-то промычали нечленораздельное. Ждали их минут пятнадцать. Нет. Звоню опять. Не отвечают. Трубку не берут.

Пришлось бежать к ним. Бегу. А потом думаю, зачем бегу. Разве нельзя шагом? Ноги у меня не казенные. Служить еще, как медному котелку. Тише едешь, дальше будешь.

Пошел шагом. И не заметил, как опять на бег переключился. Дорога — словно туннель в снегу. Сугробы высокие. Деревья близко к дороге подступили. Ветками над головой смыкаются. Сказка! Двадцать лет на юге прожил. Зимы всерьез не ви-

дел. Понаслышке знал, что снег скрипит. И вот за два месяца в который раз убеждаюсь, что он действительно скрипит. Умеет.

Дверь в муззвод заперта. Живут люди! Барабану кулаком что есть силы. Открывает заспанный солдат, в шинели, на плечи накинута. Двое других на койках лежат в обмундировании, без сапог.

— Салаги! — остервенело кричу я. — Выходи строиться!

И оттого, что я крикнул именно так, громко, властно и зло, они вскакивают и не замечают, что я тоже рядовой и тоже салага. Не давая им опомниться, строю музыкантов в колонну по одному. Приказываю:

— Кругом! Бегом!

Расстояние от муззвода до нашей роты мы покрыли исключительно быстро. Может, даже мировой рекорд поставили. Жаль, засекаль было некому.

Теперь нас стало девять человек. Три музыканта, Мишка, я, писарь из третьей роты, минометчик и те два солдата, которые спали в нашей казарме. Я видел их в первый раз.

— Фамилия? — деловито спросил я.

— Рядовой Болотов, — сказал один.

— Рядовой Долотов, — сказал другой.

Созвучие фамилий настораживало. Не смеются ли они? Потребовал служебные книжки. Солдаты, не возражая, расстегнули карманы гимнастерок. Все в порядке. Болотов. Долотов.

— Откуда? — спросил я.

— Из округа... — вступил в разговор Долотов. — В вашей роте оказались случайно. Нас спать сюда определили. Может, вы нас отпустите?

— Нет, — твердо сказал я.

— Мы в порядке обмена опытом, — сказал Болотов. — Мы художники. Приехали посмотреть, как у вас солдатская чайная оформлена.

— Солдатская чайная закрывается в двадцать два часа, — пояснил я. И отвернулся. Мне не раз давали таким способом понять, что разговор исчерпан.

Капитан ждал нас на КТП.

— Вы опоздали на девять минут, — сказал он. Я пустился в объяснения. Он махнул рукой:

— Отставить. На станцию прибыл состав с углем. Для нашей части. Задача: разгрузить платформу не позже чем до восьми утра. Помощи не ждите. Учения закончатся завтра к обеду. Поедете на этой машине...

Капитан говорил отрывисто. И чуточку сурово. А может, это просто казалось в такую ночь, на морозе.

— В машину! — скомандовал я.

Кряхтя, забрасывали ноги. Полами шинели обметали примерзший к бортам снег.

Минометчик замешкался. Не помню его фамилии. Взял он меня за рукав. Жалобливо пролепетал:

— Товарищ сержант...

— Я не сержант.

— Ну все равно... У меня стул не крепкий.

— При чем здесь стул? — удивился я.

— В санчасти я лежал... Честное слово, вчера вечером выписался. И зря... Стул у меня еще не крепкий.

Теперь я сообразил, о чем он ведет речь.

— Понос?

— Он самый, — радостно кивнул минометчик.

— Ладно. Полезай в кузов, там разберемся. А вообще... Крепкий чай с сухариками рекомендуют...

— И рисовый отвар, — добавил минометчик.

— Точно.

Минометчик чувствовал, что разгружать уголь придется несомненно. И больше не приставал.

Дневальный по КТП распахнул ворота автопарка...

Полчаса спустя мы были на станции.

Припорошенный снегом уголь лежал на платформах с низкими бортами. Через каждые две платформы торчали тощие столбики, на которых светили электрические лампочки. По одной лампочке на столбе. И по колпачку с выщербленной эмалью над лампочкой. Легкий ветер, почти неощутимый на земле, чуть раскачивал фонари. И этого было достаточно, чтобы уголь сверкал своими черными гранями, ярко и переливчато. Завернутый в пушистые клубы пара, полз маневровый паровоз. Огонек на дальних путях воспринимался как точка. Точка, за которой ночь и больше ничего нет.

Оставив ребят в зале ожидания, я прошел к военному коменданту.

Старший лейтенант — высокий, худой, с усталым безразличием в глазах — записал на календаре мою фамилию, негромко сказал:

— Семнадцать платформ... Разгрузить нужно до восьми утра. Иначе полку придется оплачивать простой... Сумма значительная.

Я распределил людей на четыре группы. Первую составили три музыканта. Вторую — Мишка Истру и выписавшийся из санчасти минометчик. Третью —

Болотов и Долотов. Четвертую — писарь из третьей роты, явно не собирающийся надрывать здоровье, и я.

На каждую группу приходилось по четыре платформы. Музыкантам — пять.

Помню, как мы выбили клинья — и борта, хрястнув, отвалились вниз. Грудки, лежащие с краю платформы, скатились на землю. Однако упало гораздо меньше угля, чем я предполагал. И объем работ стал ясен... Кислая физиономия напарника гасила во мне последние искорки оптимизма.

Неверие в свои силы прибывало с каждым взмахом лопаты. Ибо каждый взмах стоил большого труда и был ничтожен по результату. И платформа казалась мне безбрежной... Как безбрежным казалось однажды море... Я заплыл с двумя девчонками далеко. Они были года на два старше меня — лет по пятнадцати. И я поплыл вместе с ними. И не мог вернуться к берегу раньше, чем они. Потому что было стыдно признаваться в слабости. А берег удалялся как-то незаметно. Когда девчонки устали и сочли нужным повернуть назад, я был готов. Я тогда еще не мог лежать на спине. И, увидев узкую на горизонте полоску берега, забарахтался, как котенок. И почти физически ощущал, что никогда больше не ступлю на круглую гальку, не вздохну полной грудью свободно... Но страшнее всего то, что девчонки заметят мое состояние и поймут, какой я есть. И я решил плыть к берегу впереди них. Впереди, пока не покинут силы.

Я работал руками и ногами. Но берег тоскливо оставался вдальеке. Долго оставался... Девчонки настигали меня. Могли обогнать каждую секунду. А я так был уверен, что на лице моем написаны ис-

пуг и беспомощность... Тогда я усерднее врезался в волны. Разумнее...

Берег становился ближе. И я в какую-то секунду понял, что доплыву до берега, брошусь на гальку. А эти две девчонки, которых я нисколько не любил, станут уважать меня. И может, какой-нибудь из них я буду нравиться...

С первой платформой мы возились дольше, чем со второй и третьей. Вероятно, от неопытности... Мой партнер, писарь, на деле оказался стоящим человеком. Работал он неумоимо, толково... Лопата в его руках сидела ловко. Чувствовалось, парень не впервые познакомился с ней... Тем более непонятным становилось выражение его лица, на котором, точно в книге, читались недовольство и скепсис.

— Чего такой кислый? — спросил я. — Будто лимоны жуешь?

Он выпрямился, поправил шапку и серьезно ответил:

— Горький писал, что человек должен воспринимать всякий полезный труд как радость, как творчество... А я до этого не дорос. Боль в пояснице чувствую. И в висках... Радости же — никакой.

Это были первые слова, которыми мы обменялись. Он нагнулся, приподнял лопату. И молча стал швырять уголь...

Когда мы окончили разгружать вторую платформу, я пошел посмотреть, как обстоят дела у других. Мишка Истру и его напарник минометчик ненамного отстали от нас. Два солдата, Болотов и Долотов, выбивали клинья на третьей платформе.

И только у музыкантов работа не клеилась. Я нашел их на первой платформе, разгруженной лишь наполовину. Все трое, посиневшие от холода, сидели и курили. Увидев меня, один поднялся, для приличия взял лопату. Двое других продолжали делать вид, что они в Гаграх.

— Простудитесь, — сказал я.

— В санчасть запишемся...

— Почему не работаете?

— Устали!

— Ясно. Хамства вам не занимать. Все ребята по две платформы разгрузили. А вы, бедняжки, первую не осилите.

— Каждый работает как может, — невозмутимо ответил один из них.

Меня передернуло от злости. Пользуясь правами старшего, я построил трех музыкантов в одну шеренгу. Позвал остальных ребят. И объяснил ситуацию:

— Они филонят. Нам же уголек за них бросать придется.

— Каждый работает как может, — упрямо повторил музыкант. — Мы в передовики не рвемся.

— Что с ними делать? — спросил я. — Они русского языка не понимают...

— Будем бить! — ответил Мишка.

Ребята одобрительно кивнули.

— Хорошо, — предупредил я музыкантов. — Если через час нас не догоните, пеняйте на себя. Разойдись!

Догнали... Поняли, что с коллективом спорить вредно.

Словом, всю работу мы закончили минут на двадцать раньше заданного срока.

Рассвело, но состав еще долго не угоняли. Не было паровоза. Уголь чернел возле рельса низкой горкой, будто бруствер свежевырытой траншеи. Смешно и досадно, но теперь угля казалось совсем немного — во всяком случае, для девяти здоровых парней.

Подошел Мишка. Роба черная, словно вымазанная гуталином. Только хотел я состричь по этому поводу, а он опередил, чертяка:

— Эх! Суконочку... Лицо бы твое блестело, как добрый кирпичный сапог...

Пошли мыться. Умывальника на станции не держали. И мы поливались горячей водой над тазиком возле двери к дежурному коменданту.

Комендант разговаривал по телефону со штабом полка:

— Справились раньше срока. Устали, но крепятся... Полагаю, ребята заслуживают благодарности. Удачно старшего назначили. Забыл фамилию... Сейчас посмотрю, где-то записывал... Есть... Рядовой Игнатов. С командирскими задатками солдат.

Меня словно ошпарили. Стыдно стало. Будто уличили в чем-то неблагоприятном.

— Чегой-то у Славки уши покраснели? — смешливо осведомился Мишка.

— Вода горячая, — буркнул я.

Меня выделили. Чудно! Первый раз в жизни... А ведь есть же ребята, которых с первого класса выделяют. Вначале они отличники, потом их в совет дружины избирают, в комсомольское бюро, в студком... И они уже привыкли к тому, что их выделяют. И не краснеют. Провалиться сквозь землю им не хочется...

В маленьком зале ожидания накурено. Ребята

шутят: «Хоть топор вешай...» Двери скрипят и хлопают. На крыльце холодно, но дышать легче. В сон не клонит...

Крытая машина приехала за почтой. Шофер говорит мне:

— Собирай своих орлов!

Я зову.

Шофер закуривает:

— Полк вернулся. Ваш этот маленький армянин...

— Сура!

— Вот-вот... Шинель спалил... Уснул возле костра и спалил совсем новую шинель. До самых карманов спалил. Снегом тушили.

Ребята смеются. Я тоже смеюсь. Но в голове у меня как-то странно, будто я немножко выпил.

— Вы не торопитесь... Расход на завтрак оставлен, — успокаивает шофер.

Мы помогаем ему грузить желтые мешки с почтой. А потом уезжаем в полк — завтракать и отоспаться...

НОЛЬ ОДИН, НОЛЬ ДВА...

Вышедший из магазина парень дважды ударил меня по лицу, не утруждая себя объяснениями. Скорее всего он наблюдал за улицей через широкое окно, в котором стояли бутылки с кефиром и майонез в баночках.

Мне было тогда тринадцать лет. Я учился в шестом классе. И предполагал, что побили меня за Люську Зубкову, которая мне очень нравилась... Она и другим нравилась. И побить за нее могли вполне. Но брат Борька опрокинул мою самона-

деянность. Он сказал, что Люська здесь ни при чем. А нужно меньше языком болтать дома. И не рассказывать матери о том, что происходит в классе...

Парень вырос передо мной, когда я поравнялся с молочным магазином. Он загородил собой все — и улицу, и небо, и плащи ярких цветов, их тогда носили самые отъявленные модницы. Остроносый, с синими, словно продрогшими, губами. Он деловито ударил меня по правой скуле, затем по левой. Так быстро. Я лишь успел спросить:

— За что?

Словно это было очень важно. А может, важнее было дать сдачи или хотя бы прикрыться руками.

— За что? — повторил я.

Но парень уже исчез. Улица ложилась под ноги серой грязью. И дома были серые. А небо чуточку светлее...

Боль не приходила. Только обида... Так мне была преподана заповедь: язык мой — враг мой. Говорят, что я легко отделался. Некоторые познавали ее горше.

Помню еще один случай...

На зимние каникулы я приехал в Азов к родственникам. Мой двоюродный брат Витька работал на дрогах. Возил с судоверфи древесные отходы. Мощный, простецкий парень. Призывного возраста. Пошли мы однажды в кино. В какой-то захолустный кинотеатр. Впереди на скамейке сидел мальчишка, повыше меня, поплотнее. На голове — шапка. Из-за этой шапки я не видел половину экрана. Витька посоветовал:

— Дай ему в ухо.

Дружки Витькины поддержали.

До сих пор я удивляюсь не столько своей глу-

пости, сколько глупости моих советчиков... Но тогда я поднялся и двинул мальчишку. Он мотнул головой от неожиданности. Шапка скатилась на пол. Витька и его дружки захохотали. Поняв, что я не один, мальчишка не стал со мной связываться. Он поднял шапку и ушел в другой конец зала.

Двумя днями позже судьба опять столкнула меня с этим мальчишкой...

Между двойными рамами белел толстый слой ваты, и на нем лежали бумажные цветы: светло-розовые и еще желтые. Меня забавляли цветы. Потому что у нас в Туапсе вообще не было двойных рам, и ваты, и цветов между рамами.

Возле дома на замерзшей луже, словно на куске стекла, каталась соседская девчонка. Ее коньки, блестящие, острые, что-то писали на льду. И эти линии: прямые, изогнутые, овальные, кружевные — представлялись мне полными тайного содержания, не менее заманчивого, чем египетские письмена. Из разговоров тети я знал, что девчонку зовут Аленой. Я смотрел в окно. И мне хотелось выйти туда, к ней. Сказать:

— А я не умею кататься на коньках.

Не съест же она меня. Спросит:

— Почему?

— У нас никогда ничего не замерзает.

— Хочешь, я научу тебя кататься на коньках?

— У меня нет коньков.

— Я уступлю тебе свои. Они подойдут. Ведь мы с тобой ровесники.

— Но я мужчина.

И похвастаюсь своим тридцать шестым. А может, тридцать шестым размером не нужно хвататься? Ботинки у девчонки маленькие, будто

игрушечные. Синие брючки, синий джемпер с красной поперечной полосой на груди. И коса, толстая, жгутом, спадает на эту полосу, переброшенная через плечо.

Какие у нее глаза, я не знаю. Возможно, серые, возможно, синие... Сквозь стекло не видно. Кажется, девчонка заметила меня. Проезжая, она повернула голову в сторону окна. Во всяком случае, она знает, что я приехал. Вчера приходила ее мать — директор школы. Мне пришлось здороваться, и не просто так, а наклонить голову, показывая, что я культурный.

Моя тетя — человек подвижный и наблюдательный. Сказала мне:

— Одевайся... И пошли на улицу. Я познакомлю тебя с Аленой.

Уговаривать не пришлось. Я мигом влез в пальто, нахлобучил шапку. Мы вышли за калитку. Тетя позвала:

— Алена!

Девочка в синем костюме подъехала и с приятной улыбкой произнесла:

— Здравствуйте, тетя Паша.

Тетя Паша телеграфировала:

— Алена... Познакомься. Мой племянник, его зовут Славой. Он приехал из Туапсе. У них там море. Здесь ему скучно.

Алена сняла рукавицу и протянула мне маленькие розовые пальцы.

— Вам действительно скучно? — спросила она.

— Нет... — сказал я. — Я нашел подшивку старых журналов «Вокруг света».

— Я читала их...

Тетя Паша величественно удалилась. И мы сто-

яли одни. Говорить было не о чем. Но Алена, видимо, тоже старалась показать себя воспитанной девочкой, как я старался перед ее матерью. И поэтому не уходила. А стояла рядом, держась левой рукой за обледеневшую штaketку.

— Вы купались в море? — спросила она.

— Много раз, — сказал я.

— А вода в море правда соленая?

— Соленая, как «Джермук», — пояснил я.

— Нужно купить бутылку... Скажите, в море легко плавать?

— Легко. Можно плыть хоть до Турции... Полежишь на спине, отдохнешь... Ребята постарше и дальше плавают.

— Через проливы? Разве разрешают?

— Нет, — спохватился я. — Ребята к Болгарии... Поворачивают к Румынии...

— Интересно как! — сказала Алена.

Мальчишка, шедший по дороге, увидел Алену и направился к нам. Когда он подошел ближе, я узнал того мальчишку, которого ударил в кино. И он меня узнал. И очень удивился. Даже оторопел.

— Здравствуй, Павлик, — сказала Алена.

— Привет, — ответил Павлик. И, уставившись на меня недобро, спросил: — Это твой приятель?

— Нет, — смутилась Алена, почувствовав неладное. — То есть... Мы знакомы.

— У меня к твоему знакомому разговор есть, — он взял меня за пуговицу.

— Пусти! — сказал я.

— Пойдем за угол.

— Ты чего? Ты чего? — затараторил я. — Не имеешь права руки распускать.

— А ты имеешь?

— А ты докажи!

— Вот и докажу... Дороги домой не найдешь.

— Фигушки!

— Ни одна больница не примет. Родственники не узнают!

— Не тронь его, — жалобно вмешалась Алена. — Он к Турции плывал.

— Зачем?

— Не знаю. Просто так!

— Просто так не плавают.

— Вот и плавают. И дальше плавают...

— Ты юнга? — спросил он. — На корабле ходил?

— Нет! — сказала Алена. — Он на руках плавал...

— И ногах... — уточнил я. И, воспользовавшись некоторым удивлением мальчишки, проскользнул в калитку. Плотно закрыл ее за собой.

Ушел домой. В окно видел, как мальчишка взял Алену под руку и увел прочь. На душе было такое чувство, точно меня обобрали.

Я завалился на диван. Стал листать подшивку старых журналов. Однако ни на чем не мог задержать своего внимания... Думал: «Так тебе и надо... Не храбрись чужими руками».

Мои размышления так и остались бы размышлениями, если бы... не одно происшествие.

На уроке черчения.

Преподавал этот предмет Георгий Михайлович. Лысый старичок лет шестидесяти. В свое время он был ранен в голову — не на войне, производственная травма. И ранение, конечно, отразилось на его здоровье. У Георгия Михайловича была плохая па-

мать. Он работал художником в артели инвалидов «Маяк», рисовал диаграммы, схемы, плакаты. А потом, когда в школе ввели черчение, но учителей не хватало, его пригласили к нам.

Он нас совсем не помнил. Мы пользовались этим. Ухитрялись на уроке за один чертеж получать пять-шесть оценок. Стирали фамилию, писали другую. И хохотали, когда тот же самый чертеж преподаватель оценивал по-разному. Колебания случались значительные. Бывало, что автор получал не самую лучшую оценку.

Вообще дисциплины на уроке не существовало. Ребята и девчонки разговаривали вслух, ходили между партами. В тот день у меня кто-то стащил резинку. Я решил отыскать ее во что бы то ни стало.

В третьем ряду сидела Люська Зубкова. Светленькая, с красными щеками. Как я уже говорил, она мне очень нравилась. Но я стеснялся предложить Люське дружбу, хотя уже многие наши ребята дружили с девчонками. И выражал Люське свои симпатии совсем примитивно: смеялся невпопад в ее присутствии, выворачивал ей руки, хватал за волосы.

Так и на этот раз... Подошел к ней, ущипнул. Она кинулась на меня с кулаками. Я отскочил и задел Леньку Ежова, сидевшего в среднем ряду. Он уронил на чертеж кляксу.

Клякса и клякса...

Однако... Нужно знать Леньку Ежова. Он был злой и ехидный. Чуть меньше меня ростом. Я не слышал, чтобы хоть кто из ребят спорил с ним или противоречил. Он и не дрался ни с кем. Слухи же о его силе ходили упорные.

Я хотел было извиниться. Но Ежик (так его звали ребята) покраснел... Глаза сузил, как жан Мамай. Медленно поднялся, схватив меня за грудки, прошипел:

— После уроков потолкуем...

Я знал, что значит «толковать после уроков».

Мне не хотелось драться. И если бы мы столкнулись с ним один на один на безлюдной дороге, я, возможно, постарался и отвертеться. Но рядом были ребята. Люська. И я сказал:

— Отлично.

Спокойно сказал. И пошел, сел на свое место. Про резинку забыл и про Люську.

Ребята доложили нашему заводе Кольке Черткову, что я буду драться с Ежом.

Черчение было последним уроком. И ссора с Ежовым произошла минут за пять до звонка. Но ребята успели все: объявились секунданты, судить встречу взялся Колька Чертков. Условия поставили такие. Деремся внизу за школой, у старой шелковицы. С одной стороны там забор, с другой — новостройка. Никто не помешает. Бой продолжается один раунд — сто секунд.

Мой противник шел впереди, окруженный мальчишками. Они верили, что он побьет меня. А люди всегда тянутся к сильным. Позади всех плелся лишь один Колька Чертков. Он тоже знал, что Еж «навешает» мне. Но ему, как арбитру, как Бате, не приличествовало скатываться к групповщине. Поэтому он несколько приотстал, демонстрируя самостоятельность.

Зеленая полянка не напоминала ринга. Шуршание листьев, солнце в ясном небе, паутина на заборе — на шершавых, неоструганных досках... Все

это не создавало во мне ратного настроения. Наоборот...

Батя велел нам разжать кулаки — нет ли в них камней, свинчатки, напильника!..

Развел нас на три шага. Поднял руку:

— Ноль один, ноль два, ноль три...

Я шагнул навстречу противнику, словно прыгнул в воду. Голос Кольки Черткова слышал только первое время, потом слух пропал. И возвращался иногда на какие-то короткие мгновения.

Ежик начал бой, как козел бабки Кочанихи, который осенью частенько потешал нашу улицу погоней за пацанами. Наклонив голову, мой противник двинулся на меня, взрывая землю каблуками полуботинок. Однако я выставил вперед руки. Кулаки Ежова не коснулись ни моего лица, ни даже груди. Все удары пришлись по мышцам рук.

Тогда он нагнулся еще сильнее, норовя двинуть меня в дых. Но в это время лицо его осталось открытым. И я неуверенно ударил его между глаз. Неуверенно, так как сам не ожидал такого подарка со стороны Ежова. Позже ребята уверяли, что удар я сильнее, бой можно было бы кончить... Но даже слабый удар охладил пыл противника. Он перешел в оборону.

— Ноль девять, ноль десять...

Вскоре выяснилось — руки у меня длиннее. Преимущество в боксе немаловажное. Я несколько раз сильно бил соперника в грудь. Но увлекся... За что поплатился ударом в лицо, чуть ниже правого глаза.

Казалось, что бой длится уже минуты полторы. А Батя считал:

— Ноль семнадцать, ноль восемнадцать...

Ежов устал, я устал... Причина спора была ничтожной, и никакой злости друг на друга мы не испытывали. Тем более что лично мне Ежов не представлялся теперь силачом. И я понимал, что его можно здорово побить, если он этого заслуживает.

— ...Ноль тридцать. Тридцать один. Тридцать два...

Была еще одна короткая вспышка. Но преимущества она никому не принесла. Дальнейший бой — сплошное отбывание повинности. Однако при счете девяносто восемь Ежов опять хотел изловчиться и ударить меня. Но... повторил прежнюю ошибку. Открылся. Я вложил всю силу в удар. Прямой справа! В челюсть... Ежов качнулся, будто налетел на невидимую стену. Опустил руки...

— Девяносто девять... Сто!

Я мог бы сбить Ежова с ног. Но не сделал этого... И ребята поняли, что я пожалел противника. Мнение было такое — в целом встреча прошла в равной борьбе. Но последний удар был мастерский.

Вечером, на закате, когда солнце уже опускалось в волны, я встретил Люську на висячем мосту. Она с девчонками возвращалась с моря. Волосы у девчонок были мокрые, прилизанные. Ветер теребил подолы платьев. И было видно, что купальники девчат еще не высохли. Я взял Люську за руки. Обождал, пока ее подруги прошли мимо. Потом сказал, словно прыгнул в воду:

— Давай с тобой дружить!

Через год Люська уехала в Ростов. И переписывался я с ней недолго. Но дело не в этом...

С тех пор, когда на моем пути встает что-то трудное, чего я боюсь, я не уйду больше на диван

листать подшивку старых журналов. А вспоминаю поляну под старой шелковицей, Ежова, монотонный голос Кольки Черткова... И шагаю, словно прыгаю в воду.

КТО ВЫБЬЕТ ТРИДЦАТЬ ?

Мы лежим на снегу. Впереди белое-белое стрельбище. Черные пятна мишеней пересекают его, будто многоточие.

Посиневший от мороза полковой горнист вытаскивает из кармана мундштук и трубит сигнал.

Значит, можно стрелять. Слева раздается выстрел. Это пальнул Истру. Гильза падает передо мною, растапливает снег. От неожиданности я нажимаю спусковой крючок. Выстрел сухим треском раздается в ушах.

— Как лежите?! Правая нога должна составлять прямую линию с автоматом. А у вас крючок! Сколько раз показывал... Много знаете, да мало понимаете... — это сержант Лебедь учит уму-разуму Мишку Истру.

Мишка поспешно стреляет. Мишень прыгает на мушке, как мячик. Но едва сержант Лебедь успевает подойти ко мне, Мишка уже докладывает:

— Рядовой Истру стрельбу окончил!

Я не очень боюсь сержанта Лебеда. Хотя после нашего возвращения с гауптвахты он смотрит на меня косо. По стрельбе я имею второй разряд. Об этом не говорил никому. Даже Истру. Если первую пулю не сорвал, за результат можно не волноваться. То-то будет удивления!

Из-за сопки, поросшей могучими соснами, показался «газик» командира полка.

Стрельбище приходит в движение.

Командир полка полковник Донской едва успевает открыть дверку машины, как дежурный по стрельбищу с красной повязкой на рукаве громовым голосом докладывает:

— Товарищ полковник, первая рота занимается отстрелом первого упражнения. Дежурный по стрельбищу...

— Вольно! — прерывает Донской и, не глядя на дежурного, проходит вперед.

— Как стреляют?

Дежурный по стрельбищу поспешно докладывает:

— Лучший результат дня 24 очка, товарищ полковник.

— Плохо... Объявите: выбившему тридцать очков предоставляю десять суток отпуска на родину, без дороги.

Это стимул. Великое дело!

А мы уже отстрелялись. Мы бежим к мишеням цепочкой по вытопанной в снегу дорожке. Впереди меня длинный Истру, позади я слышу тяжелое дыхание Асирьяна.

— Нет, солдатом нужно родиться, — вздыхает Истру, разглядывая мишень. — Черт подери, куда девались пробоины?

Пробоины сидят в правом углу мишени, где типографским способом зеленой краской написано: «Мишень учебная № 5-а».

— Я, кажется, закрывал не тот глаз, — сознается Мишка.

— Это от волнения, — говорю я. — Бывает...

Истру так расстроен своей неудачей, что даже не заглянул в мою мишень.

Подходит взводный. Я докладываю самым уставным образом:

— Товарищ гвардии лейтенант, рядовой Игнатов выбил тридцать очков.

На лице лейтенанта Березкина радость, словно он выиграл по облигации.

— Вам разрешат отпуск, — говорит он. — Вы слышали обещание командира полка?

— Нет. Не слышал...

К нам идут, рассматривая мишени, командир полка, дежурный по стрельбищу и наш командир роты майор Гринько.

— Товарищ гвардии лейтенант, рядовой Истру выбил...

Но лейтенант не слушает Мишку. Он смотрит на мишень Асирьяна, глаза его расширяются от ужаса. Мы поворачиваем головы и чуть не валимся с ног.

Асирьян сидит на корточках перед мишенью и гвоздем проковыривает в ней пробоины: три десятки.

— Асирьян, что вы делаете? — шепотом кричит лейтенант.

Я представляю, как он волнуется. Кричит шепотом потому, что командир полка уже подходит к моей мишени. Если он услышит о проступке Асирьяна... Позор взводу! ЧП на весь полк.

— Мне нужно в отпуск. У меня жена в декрете, — говорит Асирьян. Он еще плохо говорит по-русски, когда волнуется. — Я не виноват, что пуля бежит куда-то в сторону.

Подходит полковник Донской. Я докладываю, что выбил тридцать очков.

— Первый отпускник есть... — говорит полков-

ник. — Как фамилия? Игнатов... Пстой! Это не ты на гауптвахте сидел?

— Так точно!

— Хуже... Но за тридцать очков все равно спасибо!

Истру поднимает руку к головному убору и открывает рот, чтобы доложить... Но командир полка видит его результаты. И, не останавливаясь, направляется к мишени Асирьяна. Хитрый Асирьян стал так, что совсем заслонил свою мишень.

— Ты чего прячешь? — спрашивает Суру командир полка.

— Он не выбил ни одного очка, — поспешно докладывает лейтенант Березкин.

Но, может, с перепугу, а может, по каким другим соображениям Асирьян делает шаг в сторону. И глазам изумленного командира полка предстает мишень, пораженная тремя десятками.

— Тридцать?! — говорит командир полка и вопросительно смотрит на Березкина.

Лейтенант краснеет, как напроказивший школьник, — молодой он парень, года на три старше нас, — и, заикаясь, объясняет:

— Товарищ полковник... это же... неотмеченные пробоины...

— Чьи? — нетерпеливо перебивает Донской.

— Остались после пристрела оружия, товарищ полковник.

Полковник говорит дежурному по стрельбищу, что не видит порядка, и отправляется смотреть другие мишени. Там более результативные стрелки.

Лейтенант Березкин приказывает нашему командиру отделения:

— Сержант Лебедь, Истру и Асирьяна трениро-

вать дополнительно... Да так, чтобы мишень пять-а им по ночам снилась.

— По ночам мне снятся только женщины, — докладывает Истру.

Это была истинная правда. Они одолевали его, как черти грешника.

КАК Я ПЕРЕВОСПИТЫВАЛ ИСТРУ И АСИРЬЯНА

Людей ценят по их делам — это была одна из истин, которые мне заботливо вдолбили в школе. Клянусь, она стоила немного до тех пор, пока я не столкнулся с ней на практике.

Утром — по дороге на стрельбище — самый зашудалый солдат роты, тот же Васька Куранов, который ночами мочился и ждал медицинскую комиссию, даже он был в большем почете, чем я или Мишка Истру. Мы единственные из коллектива, отсидевшие на гауптвахте по десять суток, что, естественно, не принесло нам ни славы, ни чести. И даже наши доброжелатели смотрели на нас как на людей по меньшей мере легкомысленных. Обуза для роты.

Могла ли самая смелая фантазия предполагать, что в 12.00 на стрельбище выйдет боевой листок, где большими красными буквами будет написано: *«Привет сержанту Лебедю и рядовому Игнатову, выбившим по 30 очков из 30 возможных»*.

Нет, не могла.

А боевой листок ходил по рукам. Я сам видел это. И хотя вчера я, может, усмехнулся бы и небрежно бросил: *«Подумаешь, великое дело!»* — сегодня мне было все-таки приятно видеть свою фа-

милию в боевом листке рядом с фамилией сержанта.

Мишка Истру, которому в общем-то нужно было скорее печалиться, чем радоваться, пожал мне руку и улыбнулся во весь рот. Мой успех он воспринимал как и свою личную заслугу.

По возвращении в казарму, когда все мыли руки (скоро построение в столовую), вышедший из канцелярии писарь Парамонов сообщил, что сержант Лебедь едет в отпуск.

Теперь все с нескрываемым сожалением смотрели в мою сторону, вероятно мысленно говоря: «То-то, брат, упустил удачу. Дорого обошлась тебе новогодняя встреча!»

И, признаться, у меня аппетит пропал. И борщ был отменный. И картошка с мясом. И в столовой вкусно пахло жареными пончиками, их готовили на ужин. А я неохотно ковырял ложкой в тарелке. И все думал: «Осел я! Осел!»

Боевой листок приколот к стене напротив тумбочки дневального. Ребята нет-нет да останавливались и читали, замечая в мой адрес:

— Повезло.

— Чистая случайность!

...После обеда, в три часа, меня вызвали в канцелярию роты. Майор Гринько стоял около урны и чинил толстый сине-красный карандаш «Тактика». Лейтенант Березкин сидел, положив руку на подоконник.

— Я доложил.

Майор Гринько, бросив на меня изучающий взгляд, подошел к столу, отодвинул стул и, опускаясь, начал:

— Сегодня на стрельбище вы проявили себя

молодцом, Игнатов. Не уронили чести роты. Сами понимаете, мы не можем предоставить вам отпуск. Но командир полка распорядился снять с вас ранее наложенное взыскание... Мы здесь подумали и решили... Завтра сержант Лебедь отбывает в отпуск, а вы... Мы назначим вас временно командиром второго отделения. Понятно?

— Так точно, товарищ майор! — выпалил я.

Хотя, если сказать честно, мне было далеко не все понятно. Командир отделения? Никогда не задумывался над тем, что представляет из себя эта должность. Для меня сержант Лебедь — человек, наделенный властью, о чем весомо свидетельствуют лычки на его погонах. Мне казалось, что именно в лычках заключена сила сержантского авторитета. Как же я, рядовой курсант, буду командовать отделением? Станут ли меня слушать?

Эти и другие мысли плясали в моей голове, когда я вышел из канцелярии. Я решил пока никому не говорить о своем назначении. Официально меня должны были представить на вечерней поверке.

Я пошел в ленинскую комнату. Сел за стол, поближе к стене. И стал прикидывать, с чего же я начну. Какие подводные камни встретятся на моем пути. Подача команд. Голос у меня громкий — на этот счет можно не волноваться. Строевой подготовкой я овладел сравнительно неплохо, а если поднатужиться, то получится вполне прилично. Но физо... Я вздохнул и почесал затылок.

Из старенького, похожего на шляпу репродуктора неслась героическая музыка. За передним столом Васька Куранов писал письмо. Больше в комнате людей не было. Уже стемнело. Васька под-

нялся и включил свет. Я посидел еще немного. И хотел уходить, когда в комнату вошел сержант Лебедь.

— Я не могу заступать в наряд, — обратился к нему Васька. — Мне утром к доктору надо.

— Доложите старшине, — ответил Лебедь и подошел ко мне. — Вы в курсе дела?

Я пожал плечами. У сержанта был большой хрящеватый нос и брови, как крылья. Он расстегнул полевую сумку, вынул из нее коричневую тетрадь и положил передо мной.

— Вот мои конспекты, — сказал он. — По строевой, огневой, физической. Готовьтесь к каждому занятию. И все будет хорошо. Рано или поздно вам все равно придется командовать отделением. Привыкайте. Один совет... Не давайте поблажек своим друзьям. Иначе намаетесь. Это я вам от всей души говорю...

На поверке в усталой тишине майор Гринько объявил о моем назначении командиром второго отделения.

— Кто нам запретит шикарно жить? — прошептал Мишка Истру, пританцовывая от восторга.

Танцуй, Мишка! Танцуй! Я и сам не знаю, что из всего этого получится. И майор Гринько не знает, и лейтенант Березкин. Эксперимент! Знаешь такое слово? Они думают, что я не подведу. Но и мне думать приходится... Знаешь, что я открыл? Люди взрослеют незаметно и по инерции еще долго полагают, что они дети. Заблуждение, чреватое двумя последствиями. Первое — дети оптимисты (у них все впереди). Второе — ошибки детям прощаются (повзрослеет — поуразумеет). Но детские ошибки взрослым ни-ни-ни... Открытия не хитрые. Рань-

ше я ленился шевелить мозгами, а теперь вот пришлось разобрать по косточкам первые пять месяцев службы. И что я понял? Мы же по привычке принимали командиров за школьных учителей. А между ними разницы больше, чем между будильником и мотоциклом. Командир — это все. Отец, мать, Конституция, члены правительства. Приказ должен быть выполнен точно и в срок. Никаких обсуждений, никакой демагогии.

А учитель? С ним можно поспорить, высказать собственное мнение...

Командир же отвечает за твою жизнь и смерть. Это только со стороны все просто кажется.

...Четыре сигареты и получасовое одиночество в курительной комнате обнадежили меня. Я взвесил все. И душа Мишки Истру показалась мне не более загадочной, чем устройство противогаза. Помня, что сила примера действует на человечество вдохновляюще, я решил перевоспитать Мишку Истру, надеясь, что личный состав отделения с уставным энтузиазмом последует его примеру.

Впервые за полгода я долго не мог уснуть. Впервые за полгода я видел сон. К сожалению, позабыл его... Лишь помню: школьный коридор, и я зычно подаю команду:

— В одну шеренгу становись!

Утром меня, как и остальных командиров отделений, разбудили на пятнадцать минут раньше. Оказывается, если тебя будят просто так, по-человечески, пнув легонько в плечо, — это гораздо легче переносится, нежели истошный крик дневального:

— Подъем!

Каждый дневальный кричит «Подъем!», непре-

менно вкладывая в это слово вековую ненависть голодного к сытому. Еще бы, мы спали ночь, а он стоял.

Умытый, одетый, я придиричиво смотрел, как поднимается мое отделение. Цирк!

Суру пришлось дернуть за ногу, совсем как это делал сержант Лебедь. Еще с минуту он смотрел бессмысленными глазами, досыпал, а потом, кряхтя, словно у него было трое правнуков, опустил на пол ноги.

Мишка наматывал портянки. Он всегда успевал на подъемах. У него было хорошее правило — не портить настроение командирам по утрам.

На зарядку мы не пошли. Старшина Радионов послал наше отделение расчищать снег перед казармой.

Расчищать — не то слово. Площадку, размером пятьдесят метров на тридцать, нужно было освободить от снега и посыпать песком.

В казарме отделение было в полном составе, но, когда принялись за работу, вдруг оказалось, что Истру и Асирьян отсутствуют.

Ребята недовольно ворчали. Дескать, дружки. Теперь посачкуют.

Было еще темно. Глядя на яркие окна казармы, я решал: пойти ли мне на поиски Истру и Асирьяна или остаться с отделением. Умники могли спрятаться где угодно. Их и за четверть часа не найдешь. Лучше остаться. Я отстегнул саперную лопатку и спрыгнул в яму. Здесь мы всегда копали песок, а потом накрывали яму досками, чтобы ее не занесло снегом.

...Работали на совесть. И уложились в срок... Вернувшись в казарму, я послал ребят умываться.

А сам пришел в комнату взвода, посмотрел за вешалку. Там на сдвоенной скамейке, укрывшись шинелями, досыпали Истру и Сура. Я негромко сказал:

— Подъем.

Истру быстро открыл глаза и облегченно пробормотал:

— Это ты...

Зевнул, как бегемот.

— Вставай, Сура, — сказал он. — Нужно заправлять койки. Скоро завтрак...

Я не знал, что могу так злиться... Меня подмывало двинуть Мишке в ухо, препроводив жест двумя-тремя непечатными словами. Но вешалка стояла близко к стене. И для размаха совсем не оставалось места.

Решил подождать и встретить его прямым справа, когда он встанет на ноги. Но он долго перематывал портянку... За это время я остыл. Вспомнил, что командир, что у меня куча дел и обязанностей... Я оправил гимнастерку, затянув ремень до теоретических пределов.

На утреннем осмотре я копировал сержанта Лебеда. Конечно, это глупо — копировать кого-либо. Нужно быть самим собой. Это так просто. И так трудно. Только очень мудрые и уверенные в себе люди обретают ту легкость и естественность, которая позволяет им всегда быть самим собой. Большинство же из нас находится под чьим-то влиянием, кому-то подражает... Вероятно, в этом нет ничего предосудительного, потому что в большинстве случаев люди подражают хорошему, а не плохому.

Сержант Лебедь никогда не повышал голоса. Он спокойно проходил вдоль строя, и его взгляд,

зоркий и цепкий, как у ястреба, замечал все. У меня не было такого опыта, но тем не менее я понял, что отделение к утреннему осмотру подготовлено так же старательно, как и при сержанте.

Я сомкнул ряды. Подал команду «смирно». И приказал Истру и Асирьяну выйти из строя. Отделение не нарушило поданной команды. По глазам ребят я почувствовал — они ждут от меня справедливости. Это важно и нужно.

Асирьян и Мишка стояли перед строем. Сура хмурился. Истру же, наоборот, смотрел на меня с надеждой, как старуха на икону.

Секунда летела за секундой... Но всем своим существом я вдруг обнаружил, что мне трудно вынести решение, что слишком многое связывает меня с Истру, что я совсем, совсем не гожусь для должности командира... Может, лучше стать в строй. Сказать: извините, не создан...

Я взглянул на свое отделение. И будто током меня пронзила мысль: я не могу обидеть Истру и Суру тем, что объявлю им мнение этих ребят. Твердых и честных ребят. Я не имею права не сделать этого... Но как трудно.

Ноль один... Ноль два... Ноль три...

Я сказал, словно прыгнул в воду:

— За уклонение от работ курсантам Асирьяну и Истру объявляю по одному наряду вне очереди.

— Есть! — упавшим голосом ответил Истру. Сура молчал.

— Курсант Асирьян, вам понятно? — спросил я.

— Нет, — простодушно сказал Асирьян. Я всегда подозревал, что этот орешек крепче, чем Истру. Кто-то прыснул.

— За уклонение от работы по очистке территории и недисциплинированность курсанту Асирьяну объявляю два наряда вне очереди.

— Есть! — бодро ответил Сура.

Они вернулись в строй, чеканя шаг с картинной торжественностью...

Я распустил отделение. Кто-то из другого взвода иронически спросил:

— Что, Сура? Захотелось поработать на уборке отхожих мест?

— Ничего, — сказал Асирьян. — Перезимуем.

Истру, глядя в сторону, прошел мимо меня. Минуту спустя я слышал, как он говорил в ленинской комнате:

— Во! Дали хлопчику спички, а он и хату спалил.

Сержанты группой стояли возле комнаты быта. Они перебрасывались шутками. А я? Я был один среди шумной казармы. Один, словно в чужом городе. У меня еще не было друзей среди сержантов. И казалось, что среди курсантов их тоже нет.

Кто-то положил мне руку на плечо. Старшина Радионов. Он спросил:

— Ну как, Игнатов, тянешь?

— Потихоньку, — ответил я.

— Ничего, — сказал он. — Тихе едешь, дальше будешь.

Весь день Истру не смотрел на меня. Показывал характер. Но я был уверен, что он поймет меня правильно. Поймет, если он не свинья.

После самоподготовки, направляя Истру и Асирьяна на штурм лестницы, я вручил им два крашенных ведра и ворох тряпок. Выбрав тряпку,

Истру засучил рукава, почесал затылок и, как-то виновато разведя руками, пробормотал:

— Ты поступил в общем правильно. Законно.

— Пойдем покурим, — сказал я.

В курилке нас нашел Асирьян.

— Как мыть? — спросил он. — Снизу вверх...

— Сверху вниз.

— И то легче... Сразу видно, начальство со средним образованием.

ПОДЪЕМ РАЗГИБОМ

Как ни странно, но хлопотливые обязанности командира отделения пришлись мне по душе. Виновником этому оказалось время. Оно словно прибавило шаг. И если раньше дни тянулись мучительно долго, бесконечно, то теперь они стали короткими, как солдатские прически.

Однажды в часы самоподготовки лейтенант Березкин привел командиров отделений в спортзал и сказал, что завтра на занятиях мы будем отрабатывать на турнике «подъем разгибом». Я вспомнил Ленинград, пехотное училище... И уныло вздохнул. Лейтенант показал упражнение, потом его повторили сержанты. У меня же не получилось ничего.

— К экзаменам научитесь, — успокоил меня лейтенант Березкин. — До свадьбы заживет.

Кто знает, когда она будет, свадьба!

А занятия завтра...

После отбоя я ушел из казармы. Спортзал на ходился через дорогу — в том же корпусе, где штаб батальона. В спортзале и холодно и ветрено. Дверь плотно не прикрывалась. Мешал лед. Он на-

мерзал у порога. И дневальные каждое утро скалывали его. Однако к вечеру он вновь ложился под дверь, словно приبلудная собака.

Темный от старости турник, вделанный прямо в цементный пол, стоял посреди зала. У потолка, словно два бублика, висели кольца. В углу пригрюнился дерматинный козел. Пыльный, тяжелый мат — твердый, будто набитый камнями, заплаткой маячил у турника. Я подтянул мат ближе. Вытер о гимнастерку руки и, подпрыгнув, вцепился в перекладину. Она была скользкой и холодной, как лягушка. Я разжал пальцы. Потом постоял немного, подняв глаза к потолку. Вспомнил все, что объяснял лейтенант Березкин. Подъем разгибом... Вис, взмах... Тело не слушается, имеет свое мнение. И я болтаюсь, как сосиска.

Вис, взмах...

Вис, взмах...

Что это? Слово чьи-то руки подталкивают меня, и я взлетаю над перекладиной. Крепко держусь на упоре. Смотрю вниз. Там улыбается полковник Донской.

— Вот так, Игнатов, — говорит он.

Я спрыгнул на мат. Поздоровался.

— Тебе стыдно быть с турником не в ладах, — говорит полковник. — У тебя золотые глаза. Мы решили... На окружные соревнования стрелков поедешь. За команду дивизии. В Ленинград.

Он снял шинель, подошел к турнику. У полковника крепкие руки и гибкое тело. Вздрыгнул турник, загудел. Лихо у полковника получается! Спрыгнул он на мат.

— Последний раз ваш батальон в этом зале зимует. Весной новый заложим... Ну, что стоишь?

Пробуй. Ноги прямее. Мах сильнее. Сильней! Прессом работай, прессом... Вверх! Ничего... Еще разок... Это, Игнатов, нужное дело... Я в армию пришел — тоже перекладыны и козла боялся... Еще раз... Ноги! Молодцом. Четверку поставить можно.

Я дышал часто. И чувствовал, что у меня горят щеки. Полковник Донской надел шинель. Открыл портсигар. Спросил:

— Куришь?

— Так точно, товарищ полковник!

— Ну и зря...

— А вы? Вы тоже курите...

— Я... Спроси, когда я стал курить. После войны. У меня на то причина была.

Мы закурили от его зажигалки. Я спросил:

— А соревнования стрелков, товарищ полковник... Когда они?

— В Ленинград хочешь?

— Хочу.

— Очень?

— Да. Очень...

— Тогда не надо... Это тебе только кажется, что ты очень взрослый... От ошибок никто ни в каком возрасте не застрахован.

Мы вышли из спортзала. Качались сосны. Ветер подвывал на разные голоса, гнал поземку. «Газик» командира полка стоял у нашей казармы.

— Спокойной ночи, Игнатов, — сказал Донской, открыв дверь.

— Будете писать... Передайте привет Лиле, — неожиданно осмелев, крикнул я.

Я же знал, что Лилия уже около месяца гостит в Ленинграде.

Но он ничего не ответил. Порыв ветра хлестнул мне в лицо. И возможно, мне лишь показалось, что я крикнул громко. Возможно, полковник Донской ничего не слышал.

МАШИНА С ОРУЖИЕМ

Я сидел между ящиками, прижавшись спиной к кабине, зеленой и круглой, словно арбуз. Сура примостился выше меня на крышке ящика, нахлебавшись и чуть поеживаясь, потому что температура была нулевая и ветер продувал кузов и наши ватные куртки и гнал над осинами тягучие облака. Дорога то выгибалась за бортом, то ныряла под колеса. И тогда я не видел вторую машину, которая ехала следом за нами. И тем более не видел Мишку Истру. Его тоже прикрывала кабинка; но странное дело, она не казалась мне похожей на арбуз, скорее напоминала простую солдатскую каску.

Покачивало. Глаза смыкались сами собой. И если бы хоть чуточку припекало солнце, мы, конечно, здорово бы вздремнули. Но солнце не хотело дружить с нами, и с деревьями, и с этой занудливой дорогой. И мне ничего не оставалось делать, как смежить ресницы и думать про обед, потому что это согревало.

Нас подняли рано. Еще на вечерней поверке старшина Радионов предупредил, что на весь следующий день рядовые Игнатов, Истру и Асирьян поступают в распоряжение заведующего складом оружия. Мы знали этот склад. Он находился в километре от городка, между озером и дорогой, обнесенный двумя рядами колючей проволоки. Это был пост под номером девятым. И я, и Мишка, и Сура

уже стояли на этом посту. С Сурой тогда произошел забавный случай, который в нашей роте еще долго вспоминали с улыбкой.

Дело было зимой. Ночью. Завернувшись в тулуп, Сура ходил по территории поста. На этот раз организм изменил любимой привычке, спать не хотелось.

Сура проникся ответственностью и на всякий случай снял автомат с предохранителя. Он шел вдоль стены склада, повернул за угол и увидел человека с протянутой рукой. Сура крикнул:

— Стой!

Казалось, еще секунда, и незнакомец вцепится ему в горло, тогда Асирьян нажал спусковой крючок... Засвистели пули. Сура выпустил много пуль, а незнакомец стоял и не падал.

Когда же ослепленные выстрелами глаза привыкли к темноте, Сура увидел... И похолодел от ужаса. То, что он принял за голову человека, было пожарным ведром. Вытянутой рукой оказался простой багор.

Мишка Истру, стоявший на посту у овощехранилища, услышал выстрелы. Пули прожужжали совсем рядом и впились в бруствер. Мишка решил, что на его пост напали диверсанты, а потому залег и выстрелил в темноту.

Выстрелы Истру окончательно запутали Суру. Он поспешил к сигнализации и дал сигнал: «Нападение на пост!»

Начальник караула лейтенант Березкин крикнул:

— Караул, в ружье!

Позвонил дежурному по части. Дежурный поднял по тревоге комендантский взвод.

Никто из командиров не ругал Суру. Все понимали: первый раз человек перестарался. На разборе караульной службы майор Гринько отметил происшествие на посту Асирьяна как нежелательное, указал на ошибки... Мы считали, что Асирьян отделался легко. Но он сам тяжело переживал этот случай. Все вздыхал и виновато улыбался.

— Не горюй... И на старуху бывает проруха, — успокаивал Асирьяна Мишка Истру.

...А сегодня. Дневальный разбудил нас в половине пятого. В полуосвещенном умывальнике, где пахло туалетным мылом и гуталином, мы поплекали себе в лица студеной воды. И пошли в столовую.

Сура пытался что-то петь про Армению. Но Мишка урезонил его — голос у Асирьяна был такой резкий и пронзительный, что в других подразделениях пение могли принять за сигнал тревоги. И тогда все мы нажили бы целую кучу неприятностей.

Входная дверь была заперта изнутри. И мы долго и безуспешно лупцевали ее кулаками. В конце концов решили проникнуть в столовую через кухню.

Над плитой парили котлы. Грязный, невыспавшийся солдат клевал носом возле печной заслонки. Иногда он вздрагивал, тупо, словно не понимая, в чем дело, для чего он здесь, смотрел в огонь, затем хватал пахучие сосновые поленья и ожесточенно пихал их в печь. Искры вертелись и падали на железный противень, что был прибит к полу, но долго не гасли, а чадили сизым дымком.

Повар поставил чуть ли не полный бачок каши. И мы брали ее черпаком и клали себе в миски, кто

сколько хотел. Мы завтракали на кухне за тем столом, где дежурный по части снимает пробу.

— Моя дорогая и любимая мамочка, — вздохнул Мишка Истру. — Она кормила меня такими вкусными завтраками, но я никогда, неблагодарный, не говорил ей спасибо.

Мы еще пили чай, когда пришел пожилой старшина, которого я никогда раньше не видел. Он сказал, что мы поедем получать автоматы.

Возле столовой нас ожидали две открытые грузовые машины. Мишка Истру сел в кабинку второй машины. Асирьян и я оказались в кузове первой, в ней же рядом с шофером ехал и старшина.

Часов в десять утра мы уже получили автоматы, которые лежали в деревянных промасленных ящиках. Старшина, орудуя пломбиром, заприметил ящики, украсив каждый маленькой свинцовой медалью, висящей на сером шпагате.

Вскоре двинулись в обратный путь. На этот раз пожилой старшина приказал Мишке сидеть в кузове, ибо считал, что оставлять ящики без присмотра нельзя.

Вторая машина шла метров на пятьдесят позади нас, но ее не всегда было видно, потому что дорога через лес пролегла извилистая и узкая.

Я не могу вспомнить тот момент, когда окончательно потерял из виду машину, на которой ехал Мишка Истру.

Если бы я знал, что вижу эту машину в последний раз, то, конечно, был бы более внимательным. Но никаких предчувствий у меня не было. И я без всякого интереса смотрел на грязную машину, мелькавшую за нашим задним бортом. Может, и пожилой старшина поступил неосмотрительно, сев в пер-

вую машину, хотя у него было серьезное объяснение — шоферы молодые, не знают здешних дорог.

Так или иначе, но мы приехали на склад и даже стали выгружать ящики, а второй машины все не было. Пожилой старшина забеспокоился тогда, когда мы втащили на склад последний ящик с автоматами. Пломбы, конечно, все были целыми, поэтому у старшины не было надобности пересчитывать оружие. Он вышел из склада и озабоченно посмотрел на дорогу. Снег был пористым и грязным. И небо висело ему под стать. Никакая машина по дороге не ехала.

Обеденное время кончилось. Мы знали, что на нас оставлен расход. Но очень хотелось есть, поскольку мы завтракали рано. И я сказал:

— Разрешите идти на обед, товарищ старшина?

Он не ответил, а спросил, не обращаясь к нам, словно разговаривал с кем-то отсутствующим:

— Где же они запропастились?

Постояв еще немного, он решительно пошел к машине. Шофер, который тоже торопился, уже сидел за рулем. Пожилой старшина захлопнул за собой дверку.

Загудел мотор. Машина поехала в сторону, противоположную городку.

— Мишка заблудился, — сказал Сура.

Предположение казалось мне естественным.

— Шофер — салажонок, — сказал я.

И мы спокойно направились в столовую. Это не было ни равнодушием, ни бессердечием с нашей стороны. Просто мы верили в добротность и незыблемость армейского бытия, как отдыхающий верит в санаторный режим. Мы знали о тягостях и труд-

ностях армейской жизни, но знать и лично испытать — это понятия разных дистанций.

Мишке, прямо скажем, повезло. Это было не самое тяжкое испытание, которое когда-либо выпадало на долю солдата. Происшедшее не шло ни в какое сравнение с подвигами наших отцов, дедов, братьев и скорее походило, как сказал начальник нашей санчасти, на прививку подвига. Но мне кажется, что хотя бы через такую прививку не мешало пройти каждому.

Я не помню того злополучного моста, потому что не видел его. Но я слышал, как шумела речушка, и когда мы некоторое время ехали вдоль берега, успел разглядеть неширокое, метров в десять, русло и воду вороненого цвета, рябую от битого льда.

Трудно сказать, кто и когда строил этот мост, но дорога, по которой мы ездили, была не основная, не та, что вела на станцию, и, видимо, на мост никто не обращал особого внимания. А может, просто бревно попало с гнилью: сверху — здоровое, а в середине — труха.

Словом, бревно выпало. И правое переднее колесо вошло в щель, словно патрон в патронник. И машину занесло влево. Она стала поперек моста, сломав кузовом перила. Задние колеса повисли над водой. И машина беспомощно лежала на брюхе, как собака с перебитыми ногами.

Шофер ударился грудью и немного головой. Он потерял сознание, так как сломал несколько ребер и рассек лоб.

Пущенный точно с катапульты Мишка Истру приземлился на противоположном конце моста, но, на его счастье, дорога здесь шла под уклон, и он

не плюхнулся, будто мешок с песком, а заскользил, как санки. И даже не отшиб себе ничего. И не испугался. Потому что не успел.

Он застрял в сугробе, поцарапав щеку о твердый заскорузлый снег. И лишь когда встал на ноги, почувствовал слабость в коленках и присел на ящик с автоматами, который прилетел сюда вместе с Мишкой. Ящик тоже был цел и невредим. Но другой ящик, разбитый, лежал на мосту, и автоматы валялись в беспорядке, как игрушки, разбросанные ребенком.

Тогда Мишка встал и пошел к машине. Поднял автомат, который зарылся стволом прямо в дорогу. Автомат был густо смазан маслом. И масло пачкало перчатки. А они у Мишки были кожаные, присланные из Кишинева. Мишка вынул носовой платок. Хотел обернуть им ложу автомата, потом раздумал. Снял перчатку и взял автомат голыми пальцами. Он действовал вяло и расслабленно, словно человек, очнувшийся после долгого сна.

Он не помнит, сколько все это продолжалось по времени, потому что не догадался посмотреть на часы. Наверное, меньше минуты... Мишка говорит, что он ожидал, когда выйдет из кабины шофер, но шофер не выходил.

И тогда до Мишки, наконец, дошло, что с водителем могла случиться беда, и он побежал к машине.

Шофер лежал на сиденье и тихо стонал. Голова и лицо у него были в крови. А перевязать нечем. Носовой платок мал. Мишка снял с себя куртку, стащил гимнастерку и разорвал нательную рубаху...

Все дальнейшие поступки он совершил, будучи в незастегнутой гимнастерке, потому что, свернув куртку, он положил ее под голову шофера.

Наша машина давно скрылась за поворотом. Дорога была пустынна. Дул ветер не то чтобы пронзительный, как при езде, но колючий. И хотя облака закрывали все небо и солнце, чувствовалось — время идет к вечеру.

И Мишка не растерялся. Он стал собирать автоматы и складывать их в кузов. Притащил тот ящик, который вместе с ним вылетел за мост. Но водрузить его на кузов у Мишки не хватило сил, и он оставил ящик возле машины.

Потом он решил внимательно разобраться в том, как же машина застряла на мосту. Пригнувшись, посмотрел под задние колеса, которые висели над водой, словно спасательные круги. Лед по реке плыл мелкий, и не сплошной кашицей, а светлыми стайками, метра по два, по три длиной, разбросанными, точно пятна. Провожая взглядом косяк, Мишка вдруг различил на дне реки автомат, а чуть дальше — еще один. И может, это было обманом зрения, но Мишке показалось, что быстрая вода хоть и едва заметно, но сносит автоматы вниз по течению. Он понял так: медлить нельзя. Скоро ли подоспеет помощь — неизвестно, а за это время река может унести автоматы черт знает куда.

Мишка снял сапоги, шаровары, но кальсоны и гимнастерку не стал снимать, так как боялся, что голым замерзнет сразу, не успев войти в воду.

Глубина реки в том месте, где лежали автоматы, была чуть больше метра. Вода достигла Мишке по пояс, но ему еще пришлось нагнуться, чтобы взять автомат со дна.

Я никогда не входил в ледяную воду, но Мишка утверждает, что это приятнее, чем дневалить по

праздникам. И вот он поднял автомат. И пошел к тому месту, где лежал второй, но сколько он ни шарил взглядом по дну, оружия не было. Ноги у Мишки стали какими-то странными, и он стоял, словно на ходулях. А речка бежала холодная, мрачная. Конечно, Мишка очень огорчился, но быстро сообразил, что нужно взобраться обратно на мост и оттуда засечь, где же лежит оружие.

Он так и сделал. И ему вновь пришлось заходить в реку, теперь уже по грудь, и приседать в воду с головой, чтобы ухватить автомат за ложу...

Когда приехал старшина-оружейник, возле моста стояла райпотребсоюзовская машина и одноручный экспедитор растирал Мишку водкой.

...Я узнал, что Мишка в санчасти, от Суры. Мы слушали по радио репортаж о хоккейном матче, а Сура вбежал с мороза и крикнул мне:

— Мишка в санчасти!

Но я сразу побежал не в санчасть, а в столовую, так как знал, что Мишка ничего не ел с пяти часов утра. Я выпросил у повара два куска мяса и огурец, а у хлебореза — свежую горбушку и вторгся в санчасть, где хозяйничала Маринка.

Она, конечно, пропустила меня к Мишке, но у него была высокая температура. Он только улыбался глазами. К мясу, к хлебу, к огурцу даже не притронулся.

И вся рота и я... Все мы были горды за Мишку. И даже старшина Радионов проникновенно говорил о Мишке Истру на вечерней поверке. Он сказал, что Истру вел себя как настоящий солдат в настоящем бою.

На койке я долго не мог уснуть. Думал о Миш-

ке. Интересно, хватило бы у меня духа, мужества, сил совершить то, что сделал Мишка?

Только что гадать — такое проверяется не в мечтах, а на деле.

ПРИЗНАНИЕ

Весна наступила незаметно. Снег растаял, а трава еще не проросла. Все было черно, как на пожарище. Обложные дожди то моросили мелкой сеткой, то вдруг свирепели и хлестали землю. Дороги между казармами превратились в жидкую кашу. Все разбухло.

Истру уже третью неделю лежал в санчасти. У него было воспаление легких, но кризис миновал. Я приходил к нему, но мне почему-то не хотелось встречаться с Маринкой, словно я был виноват перед ней.

Прошло немало времени, как сержант Лебедь вернулся из отпуска. И я занял прежнее место в расчете отделения, место стрелка-автоматчика. И майор Гринько и лейтенант Березкин остались довольны моей работой. Мне объявили благодарность перед строем роты.

В личном плане ничего нового не произошло. Лилю я больше не встречал. В гарнизоне ее не было. Она развлекалась в Ленинграде, где жила ее мать.

Я часто посещал библиотеку, читал всю новую литературу. Библиотекарша, молодая женщина, жена офицера, знала меня.

Однажды я пришел в библиотеку мокрый. Читальный зал был пуст. На длинных, под зеленым сукном столах лежали подшивки газет и журналов.

— Игнатов, — сказала библиотекарша. — Для вас письмо.

Она протянула мне маленький конверт с голубым ободком. Адреса и почтового штампа на конверте не было. Просто написано: «Игнатову Славе!»

Библиотекарша улыбалась. Она была полная и симпатичная, с длинными каштановыми волосами. Ее муж болел туберкулезом и шестой месяц лечился в госпитале.

Я сел за последний столик. Вскрыл конверт. На листке, тоже окаймленном голубой полоской, написано:

«Славик! Хочу тебя видеть. Коли сможешь, приходи вечером в четверг. Отца, наверное, не будет. Приходи хоть на минутку. Л.»

От большой радости, как и от большого горя, люди впадают в состояние, о котором Мишка Истру образно сказал:

— Я чувствовал себя так, словно с верхних нар мне на голову опустили пару кирзовых сапог.

Я встал и, пошатываясь, пошел на выход. Если применять Мишкину терминологию, то я шатался так, словно вся рота опускала мне на голову кирзовые сапоги.

— Игнатов, вы не возьмете «Войну невидимок»? — спросила библиотекарша. — Это в вашем вкусе.

— Не возьму, — ответил я.

— Это в вашем вкусе, — библиотекарша улыбалась.

— Какой сегодня день? — спросил я.

— Четверг.

— Спасибо, — сказал я.

Библиотекарша улыбалась.

Вечером я сказал сержанту, что хочу пойти в санчасть навестить Истру.

— Ладно, — сказал сержант Лебедь. — Передайте ему привет. И скажите, что он позабыл смазать свою лопатку. А теперь она покраснела. И я, наверное, накажу его, когда он вернется.

— Хорошо, — сказал я. — Я передам Истру, что он забыл вычистить свою лопатку и что вы накажете его по возвращении.

— Ладно, — сказал добрый Лебедь, — про наказание, пожалуй, не надо. А привет не забудьте!

Она встретила меня улыбкою, похудевшая. Удивительно похожая на девчонку. И оттого, что она походила на девчонку, а не на какую-нибудь голливудскую звезду, я чувствовал себя увереннее.

— Я только вчера приехала, — сказала Лиля. — Ты разве не получал моих писем?

— Ты их не писала, — ответил я.

— Но я собиралась, — сказала Лиля.

— Возможно.

— Мы были с Тайкой в Ленинграде. Там весело.

— В Ленинграде всегда весело.

— Я должна иногда приезжать в Ленинград, иначе меня выпишут. Понимаешь, я прописана в Ленинграде. У меня там площадь.

— Понимаю.

— Сними шинель, — сказала она. — У меня есть венгерский вермут.

— Шинель я не сниму.

— По новогодней причине?

— Нет. Я должен забежать в санчасть.

— К Маринке? Вы с ней встречаетесь?

- Нет. Заболел Истру.
- Бедный Мишка. Что-нибудь серьезное?
- Простудился.

Лиля поставила на стол бутылку. Бутылка была высокая, с пестрой этикеткой. Распахнув сервант, Лиля достала две высокие хрустальные рюмки.

- Штопора у нас нет. Придется ножницами.
- Я выбью пробку, — сказал я.
- Ты способный, — сказала Лиля.

Я выбил пробку. Лиля наполнила рюмки.

— Значит, это правда, что ты не встречаешься с Маринкой?

- Я видел ее не больше, чем тебя.
- И она не нравится тебе?
- Да, не нравится, — ответил я и выпил вино.

Лиля тоже выпила все вино. Потом она придвинулась ко мне и насмешливо спросила:

— А я?

Теперь я снова различал пудру на ее лице, комочки туши на ресницах, но впечатление, что она моя ровесница, не проходило. Никакая она не королева!

— Ты нравишься мне, — сказал я.

Лиля отпрянула назад.

— Я польщена.

И вдруг сделалась розовой и даже смущенной. Этого, признаться, я не ожидал. Мы смотрели друг на друга с таким удивлением, будто виделись впервые.

Я взял со стола бутылку, стал разливать вино в рюмки. Оно бежало темной густой струйкой. И струйка изгибалась от края к краю и, наконец, выскользнула за пределы рюмки. И тогда я понял, что рука у меня дрожит. И Лиля поняла это. К ней

вернулся прежний цвет лица. Она улыбалась. Я поставил бутылку. И обнял Лилю. И она потянулась ко мне, словно давно ждала этих объятий.

...Лиля выключила свет. С дивана я видел узкую шкалу приемника. Она мерцала маняще, загадочно. Негромко играла музыка. Я спросил:

— Ты любишь меня?

— Глупый, — сказала Лиля. — Давно... Но поняла это только в Ленинграде.

— Ленинград — хороший город... — сказал я.

— Я глупая, — самокритично заметила Лиля.

— Ну и пусть. Ты красивая...

Музыка заполняла комнату. Тихая, нежная...

Лиля сказала:

— Я люблю слушать музыку и читать хорошую прозу. Мне кажется, что когда-нибудь писатели будут писать прозу для музыки. Представь, мы с тобой в Ленинграде, в концертном зале. На красивой бумаге, красивым шрифтом напечатан рассказ или поэма в прозе.

— Почему в прозе?

— Я не люблю стихи. Слушай дальше... Мы сидим в удобных креслах, читаем текст...

— Официанты разносят пиво, — мечтательно замечаю я.

— Не перебивай... Музыка звучит вначале громко. Потом она стихает. На первое место выступает литературный текст. В какой-то момент свет начинает гаснуть. Он делается таким слабым, что читать дальше становится невозможно. Это значит, пришла пора музыки. Можно закрыть глаза и сидеть просто слушать... Улавливаешь?

— Улавливаю, — сказал я. — Ты пахнешь земляникой.

ПИРАМИДА ХЕОПСА

Лиля с сожалением опустила топор и, тряхнув головой, сказала:

— Пирамиду Хеопса этот старичок не осилит...

— Я пойду в автопарк, — сказал я. — Мы вставим ему зубы.

Прохладный апрельский вечер белесым туманом подступал к самому сараю. И казалось, что сарай стоит на краю кручи, что дальше пропасть, заполненная облаками. Очертания дома, различные справа, метрах в пятнадцати, были совсем робкими. И желтые окна висели над землей, словно парашюты.

Крутая горка пиленых дров доходила чуть ли не до крыши сарая. Она была темнее, чем все остальное. И от этого лицо и волосы Лили казались особенно светлыми. Она стояла в кожаной куртке и в брюках. Ни шапки, ни платка на голове. Она зря остригла волосы в Ленинграде. Короткая прическа делала ее старше.

— Не нужно идти в автопарк, — сказала она. — Я возьму топор у соседей.

Ушла в туман. А я присел на чурбак. И куча дров сделалась еще больше. Она и в самом деле напоминала пирамиду. Конечно, маленькую. Такую не нужно строить двадцать лет. И каждые три месяца менять по сто тысяч рабочих. Но все же это была пирамида. Древняя геометрическая фигура. И я подумал, что чудес света знают семь: пирамида Хеопса, сады Семирамиды, храм Артемиды Эфесской, статуя Зевса Олимпийского, Галикарнасский мавзолей, колосс Родосский и Александрийский маяк. Будет ли восьмое чудо света? А может, оно уже есть.

И восьмое и девятое... А узнают люди об этом лет через сто. Может, нужно время, чтобы без ошибки определить, что чудо, а что нет... Жаль, человеку отпущено мало лет. А что было бы, если бы люди жили лет по триста? Наверное, не пришлось бы сейчас колоть дрова. Значит, природа где-то промахнулась, если человек должен умирать именно в том возрасте, когда он чему-то научился...

А как же с чудом?

— Вот, — сказала Лиля.

Колун, ухнув, вонзился в дерево. Чурбак, словно разинув рот, разделился на две белые половинки.

— Ключула я его, — сказала Лиля.

Она подала колун. Добротный, тяжелый, с хорошо набитой длинной ручкой.

Дрова пахли сосной. И ноздри Лили раздувались, когда она вдыхала этот запах, таская колотые дрова. Она складывала их в сарай. Снова приходила ко мне. Я махал колуном до боли в пояснице...

— Разогнись... — сказала она. — Вот тебе сигарета. Присядь и отдохни. А то соседи скажут, что я безжалостно эксплуатирую солдатский труд.

— Объясни им, что я колю дрова только потому, что люблю тебя.

— Они и сами это понимают. Но говорить все же будут.

— Нам остается посудачить о соседях. И мы будем квиты.

Она отрицательно покачала головой.

— Судачат от скуки. А мне с тобой не скучно.

Темнело. Туман становился плотнее. И под ногами хрустел ледок. Колун хорошо знал свое дело. Чурбаки трещали...

Человек вышел из тумана. Я увидел его в двух

шагах от себя. На нем была такая же кожаная куртка, как и на Лиле. Он спросил:

— Ну что, друзья? Устали? Дайте старику косточки размять.

Донской взял у меня колун. Разрубил чурбачка три-четыре и весело сказал:

— Хорошего понемножку. А теперь пошли... Я накормлю вас варениками с творогом и сметаной. Настоящими украинскими варениками.

— Фирменное блюдо, — сказала Лиля. — Пальчики оближешь...

Я поблагодарил и сказал, что поужинаю вместе с ротой. Но полковник засмеялся и заверил, что таких вареников на роту не наготовит никакой повар.

— Это почти искусство, — шутливо пояснила Лиля.

— Она все время подкалывает меня, — пожаловался полковник.

— Нет. Правда, папа, я говорю на полном серьезе.

Мы пришли в дом. Пока я мыл руки, Донской снял куртку и остался в коричневом свитере.

— Полотенце возле выключателя, — не поворачиваясь, сказала Лиля. Она стояла в другой комнате возле зеркала, поправляла прическу. Полковник вынул из шкафа прозрачную клеенку и накрыл ею стол. Расправляя ладонью изгибы клеенки, он сказал:

— Давно ловлю себя на мысли, что родился поваром. Трудно представить, до чего люблю готовить.

— Я тоже, — сказал я. — Даже торт «Наполеон» сделать могу.

Полковник хитро посмотрел на меня. Сказал:

— У нас с тобой общие симпатии...

— Это очень удобно — иметь общие симпатии с начальством.

— Два таких остряка в комнате... Аж страшно! Сделайте одолжение — помолчите за ужином.

— И не подумаем, — сказала Лиля. — За этим столом уставы не писаны...

— Уставы — штука нужная. Правда, Игнатов?

— Нужная... В общем не знаю, — неопределенно ответил я.

— А что ты знаешь? — спросил Донской. — Кто ты такой, знаешь? В чем твое призвание, знаешь? Как жить дальше будешь, знаешь?

— Папа, чего ты к нему пристал? Давайте кушать...

— Одно другому не мешает, — возразил Донской. — Тебе, вероятно, приходилось слышать такое выражение: «Он создан, чтобы быть инженером», «Он рожден, чтобы быть артистом». А ты убежден, что создан быть журналистом? Я лично сомневаюсь... Смотри, сколько вокруг интересных дел, людей... А тебе и в голову не пришло послать в окружающую газету хотя бы небольшую заметку.

Мне нечего было возразить.

Нечто подобное на днях высказывал Мишка Истру. И даже больше этого. Он прослышал, что в штаб пришли разнарядки из военных училищ.

— Славка, имей в виду.

Лицо без улыбки, неподвижное. Ни одной морщинки, а они вопреки всему очень украшали Мишкину физиономию. Делали ее живой, обаятельной.

— Ты когда-нибудь собирал грибы?.. Идешь, то ропишься. Глаза, как загнанные зайцы, по земле бегают... Результат? Пустота в корзинке. А сзади на-

стоящий грибник идет, не спешит. Ко всему присматривается. Тут белый. Там подосиновик... А ты чуть на них не наступил. И не заметил... Длинная аналогия, но я уже к сути подбираюсь. Мне кажется, что люди мимо многого проходят из-за невнимательности... Мимо призвания, мимо счастья, мимо любви. Я и сам такой... Но я был бы плохим тебе другом, если бы не подсказал, в чем твое призвание. Вдруг я ошибаюсь, то не обижайся. Договорились?

Я кивнул.

— Писарь Парамонов похвалился, что пришли разнарядки в отличные училища... Эти девять месяцев убедили меня, что ты не прогадал бы, поступив в офицерское училище. Не перебивай меня. Я знаю, что ты скажешь... Журналистика, литература... Видишь ли, если у тебя есть искорка, то офицерское звание ей не помеха. Наоборот, солдатская жизнь с ее амплитудой — от подвигов до анекдотов... Нет, честное слово, это клад. Характеры, истории...

Мишка говорил долго. Повторялся. Он любил повторяться, точно опасался, что его поймут превратно.

— Ты меня озадачил, Мишка, — признался я. — Черт его знает, но я никогда не представлял себя в офицерской шинели, не думал об этом. Призвание... Когда-то я полагал, что призвание можно выбрать, как авторучку в магазине. А здесь не размышлял о нем. Не было времени...

Донской сказал:

— Слава, можно мне называть тебя так? Это касается и Лили... Молодые люди, определяя свой жизненный путь, ответственны не только перед собой, мамой, папой... Но и перед народом. Перед Родиной. И это не просто громкие слова. Ладно... Мы вернемся к нашему разговору. А сейчас за стол.

Может, все было не так... А иначе. И я забыл многое. Может, были другие слова... Но клеенка на столе лежала прозрачная, и Донской разглаживал ее большими ладонями...

Нам не удалось больше вернуться к этому разговору. Но от того вечера, когда мы ели вареники с творогом, у меня осталось ощущение, что в жизни есть масса такого, что спрятано от человека, словно клад. Его следует искать, искать всю жизнь. Вот почему люди мудреют с годами.

ТОВАРИЩ ЕФРЕЙТОР

В сутках двадцать четыре часа. Восемь солдату отводится на сон. С шести до семнадцати он штурмует высоты, топчет плац, ходит по азимуту, завтракает, обедает, изучает оружие и совершает массу других полезных дел. С семнадцати до девятнадцати в подразделениях самоподготовка. Что это такое? Долго объяснять не нужно. Изучай плохо усвоенное на занятиях. Просто... Но время для самоподготовки избрано крайне неудачно. Оно лирическое!

Солнце уже спряталось в лесу. Растворились и тени. И все, даже строевой плац, выглядит задумчивым и волнующим. В такое время хорошо писать письма знакомой девушке, а еще лучше — посматривать на часы, ожидая ее прихода...

Я сижу и занимаюсь. Готовлю конспект по строевой подготовке. Впереди меня — три стола, занятых моим отделением. Ближе всех Светланов. Он сидит ко мне спиной. И что-то пишет. Перед ним лежит устав внутренней службы. Светланов иногда заглядывает в устав, там между страницами — фотография девчонки.

Может, сделать ему замечание? Я же командир отделения. Настоящий. Штатный, с соответствующим денежным содержанием.

Вероятно, следует вернуться на несколько дней назад и рассказать, что же произошло...

Инспекторская проверка началась в мае, сразу после праздников. Офицеры из округа приехали в субботу ночью. В гостинице что-то не подготовили, и кое-кого из инспекторов пришлось разместить по казармам. Два офицера спали на диванах у нас в ленинской комнате.

Все дни мы проводили на воздухе: сегодня на стрельбище, завтра в спортгородке, послезавтра на строевом плацу. Солнце позаботилось о нас. Земля больше не чавкала под ногами, а желтела твердой коркой, из которой солдатские сапоги с утра до вечера выбивали пыль.

Будь время, можно б снять шинель и просто так в гимнастерке посидеть, покурить на припеке. Но времени не было...

Полковые офицеры ходили какие-то издерганные, и только наш ротный майор Гринько по-прежнему отличался спокойствием и неразговорчивостью. И это его спокойствие передавалось нам. Мы действовали собранно, уверенно, не испытывая ни робости, ни страха перед придирчивыми инспекторами. Результаты порадовали всех. Рота была объявлена отличной. Десять курсантов получили ефрейторские звания.

И Мишке и мне пришлось пришить лычки на погоны. Конечно, в высокой лестнице чинов звание ефрейтор стоит на самой первой ступеньке. Будучи рядовым, я относился к нему весьма скептически. А вот когда сам стал ефрейтором, вспомнил старую

восточную поговорку, которую любил повторять Сура: «И длинный путь начинается с первого шага».

Сура не получил ефрейтора. Он время от времени похлопывал меня и Мишку и говорил:

— Молодцы... Молодцы...

При этом его хитрые глаза улыбались так, что не поймешь — смеется он или говорит серьезно.

Через две недели после проверки мне пришлось уйти из нашей роты. В третьей роте требовался командир отделения, и на эту должность послали меня.

— Больше некого, — сказал майор Гринько. — Сержанты нам самим нужны. А у тебя получится... Думаю, справишься.

— Справится, — заверил лейтенант Березкин. — Пусть привыкает к самостоятельности. А если что, приходи, всегда поможем.

...Старшиной третьей роты был угрюмый, как медведь, сверхсрочник с большим мясистым носом, черными глазами и густыми спутанными волосами, тоже очень темными. Представляясь, он буркнул:

— Старшина Буряк.

— Как? — не понял я.

— Бу-ряк... — повторил он с раздражением.

Я сообразил, что, переспрашивая его фамилию, произвел на старшину плохое впечатление.

Хорошо, что взводный оказался простым парнем. Он был таким же молодым, как лейтенант Березкин, инициативным, мог не хуже Истру потолковать об искусстве. И был без памяти влюблен в нашу симпатичную библиотекаршу Таню.

Я знал Таню. Она была большой подругой Лили. И, передавая мне Лилины записки, интригующе улыбалась. Вначале я краснел от этой заговорщиц-

кой улыбки. Но потом перестал обращать внимание и только дружески похлопывал библиотекаршу по плечу. За что незнакомый офицер из связистов сделал мне однажды замечание. Он вызвал меня в коридор и полупшепотом сказал:

— Видимо, молодым дамам нравится внимание мужчин... Я объясняю это недостаточным воспитанием. Плюс конгруэнция специфики... А если учесть, что Татьяна при блестящих внешних данных женщина заурядная... Вы меня понимаете?

— В какой-то степени... Фрагментарно.

Это было единственное заумное слово, которое я вспомнил в ту секунду.

— У нее есть супруг.

— Намного старше ее, — подсказал я.

Офицер понимающе сморщился и доверительно сообщил:

— Я никогда не одобрял такие браки...

Разговор со связистом я передал Лиле. А она — библиотекарше. Таня звонко смеялась.

— Этого связиста я вижу насквозь. После четырех он ежедневно появляется в читальном зале. Нахорохорится, как индюк, делает вид, что читает, а сам на меня посматривает. Ха! Ха! Я же не виновата, что мне двадцать лет и нравлюсь мужчинам...

— Врет, — сказала мне потом Лиля. — Ей давно двадцать три стукнуло...

Муж Тани, офицер, уже три месяца лежал в госпитале в округе. Как выяснилось, у него был рак легких.

Мне кажется, что сероглазая Таня была ему плохой женой... Это очень обидно.

Почему так? Почему редко, как большое исключение, совпадают красота внешняя и внутренняя?

Может, нужно писать лозунги, как это делают орудовцы и пожарники. Писать броскими буквами: *«Красивые девчонки! Будьте верными и хорошими! Не переходите улицы в неположенном месте!»*

Мой взводный лейтенант Сиротов не думал о лозунгах. Он еще не был женат на Тане. И любил ее. И полагал, что это очень хорошо — любить замужних женщин. О его чувствах знали немногие. Мне сказала Лиля под большим секретом.

Описывать всякие портреты — дело бесполезное. Не представишь. Не зря криминалисты, составляя словесный портрет, пренебрегают всякой художественностью. Точность. И общепринятые определения. Если стать на их точку зрения, то о Сиротове можно сказать следующее. Рост 180 сантиметров, походка прямая, широкоплечий, волосы светлые (цвета соломы), нос большой (чуть приплюснутый, как у боксера), глаза синие, губы толстые, уши нормальные. Любит играть на гитаре. Поет песенки Вертинского...

Сиротов приветливо улыбнулся мне. Пожал руку. Спросил, почему мы с Мишкой больше не «хохмим» в самодеятельности. Сколько я окончил классов, поинтересовался. Потом построил взвод и представил меня второму отделению.

«Везет на вторые отделения», — подумал я.

Ребята в отделении были разные. Конечно, не в том плане, что один выше, другой ниже. Я не могу сказать, что они были хорошие или плохие. Разные — очень точное слово.

Рядовой Хаджибеков.

Рядовой Найдин.

Рядовой Светланов.

Рядовой Кравчук.

Рядовой Молот.

Рядовой Тах.

Когда я распустил отделение, приказав взять противогазы и лопатки, я еще не смог бы угадать каждого в лицо. Через несколько минут вновь построил их. Солдаты роты смотрели с любопытством, как на представление. Стараются ефрейтор! Я с пристрастием проверил, в каком состоянии находятся лопатки и противогазы. Тогда же запомнил двух солдат: Светланова и Кравчука. Запомнил потому, что они не получили замечаний.

...Итак, самоподготовка. Скрипят перья. Шуршат страницы.

Дневальный кричит:

— Ефрейтор Игнатов, на выход!

Я спешу. Дневальный весело подмигивает мне...
Неужели Лиля?

Выхожу из казармы. У курилки, которая сейчас пустая, облокотившись на перила, стоит Маринка. У ног маленький синий чемоданчик. Она грустно смотрит на меня и чуточку улыбается глазами:

— Я не помешала?..

— Конечно, нет, — говорю я. И беру ее холодную ладошку.

— Поздравляю, — говорит она.

Лычки. Ясно.

— Рад стараться, — говорю я.

— Ты проводишь меня немножко? — Она глядит пристально и серьезно.

Я поднимаю ее чемодан. А в воздухе столько запахов, что прямо кружится голова. И мне совсем не хочется говорить. Не хочется.

— Ты не спрашиваешь, куда я еду, — говорит она. — Тебе не интересно.

— В отпуск.

— Нет. Тебе не интересно.

— Я толстокожий, — говорю я. — Это правда.
Но ты мне не безразлична.

— У тебя Лиля.

— Я влюблен.

— И у меня любовь тоже. Странно... — сказала Маринка. — Все получилось так... Ты же знаешь, какой лейтенант Березкин мечтательный. И вдруг... Я, правда, и раньше подозревала. Только не верилось... Словом, мы расписались с ним.

— Какой же я дурак, — сказал я. И протянул Маринке руку. — Ведь я-то думал, что нравлюсь тебе. Мне и неловко было из-за этого.

— Ты нравился мне, — сказала она просто.

— И ты мне немножко. Тогда, в поезде...

— Как мило! — не без иронии сказала она. У нее были розовые щеки. — Неделью назад Лешу перевели в Петрозаводск. А теперь еду я. Леша получил комнату...

— Прости, что за Леша?

Я и не знал, что Березкина зовут Алексеем.

Темнело. И лес плотней прижимался к дороге. Но дорога была светлая. Она тянулась далеко-далеко, ровная, как ученическая линейка... Комары кружились над нами, тонко попискивая. Приходилось отмахиваться, порою хлопать себя по лбу... Мы подошли к машине, на которой она должна была ехать до станции. Машина стояла накренившись, и левый борт ее высоко задирался над правым. Шофера еще не было. Мы некоторое время молча стояли. И я смотрел мимо Маринки, она мимо меня. Потом пришли сразу три офицера и сверхсрочник с женой. Они залезли в кузов. А мы еще стояли внизу, когда

Маринка, увидев шофера, подала мне руку и тихо сказала:

— Мы, конечно, больше не встретимся. И писать нам друг другу нечего. Но мне не хочется говорить — прощай! До свидания...

Ветер подхватил выбившуюся из-под берета прядь волос, бросил Маринке на глаза. Она поправила волосы рукой. Озорно посмотрела на меня. И, круто повернувшись, схватилась за борт руками. Легко подтянулась. И через секунду сказала из кузова:

— Поддай чемодан.

...В ленинской комнате пусто. Наверное, самоподготовка уже окончилась. В расположении третьего взвода играли на гармошке. Играли удручающе однообразно. Я сел на стул и, обхватив лицо руками, закрыл глаза.

Я видел пахнувшие лекарствами пальцы Маринки... Синий чемодан. И огонек над номером машины, который, уплывая в ночь, тускнел, словно погружался во что-то мутное.

— Товарищ ефрейтор...

— Товарищ ефрейтор, пора на ужин.

Я вздрогнул. Светланов обращался ко мне. Да. Я теперь «товарищ ефрейтор».

НАПИШИТЕ ПИСЬМО ДЕВЧОНКЕ

Над окном ласточки свили гнездо. Крохотное, чудом державшееся под козырьком крыши. Они неизменно возвращались сюда весной. Их певучее щебетанье слышалось днем и вечером...

Заступая в караул, мы вначале выглядывали

в окно. И смотрели вверх, словно птицы тоже числились по описи имущества.

Они хлопотали каждое лето. А когда березы на втором посту становились мягко-желтыми, будто написанные акварелью, ласточки улетали. Мы не задумывались над тем, куда летят ласточки. И наш сержантский караул все по-прежнему называли «Ласточкин дом».

Он был прикрыт выводком молодых березок, сбегавших к озеру по отлогому берегу, высланному бурым мхом. Озеро блестящее, как зеркало. Тропинка на посты идет вдоль самой воды. Рядовой Светланов поймал здесь щуку. Оригинальным способом: оглушил ее корягой. Щуку сварили на плите, огонь в которой осенью и зимой поддерживается почти круглые сутки.

Мы любили наш караул. В помещении для бодрствующей смены тонкой фанерной стенкой был огорожен прямоугольник с окном. Это комната начальника караула. Три телефона на столе. Часы... Старенькие, морковного цвета, с гирьками на потемневшей от времени цепочке.

Мне нравилось заступать начальником караула не только потому, что выполнение боевой задачи в мирное время налагало на всех особую ответственность и серьезность. Не только потому... Я заметил, что в карауле здорово раскрываются характеры людей. Некоторое однообразие казарменной жизни делало один день похожим на другой. Может, поэтому все с большой радостью восприняли весть о предстоящем заступлении в караул.

С любопытством приглядывался я к солдатам отделения. Наиболее интересным и примечательным из них мне казался рядовой Светланов.

Оговаривая со старшиной Буряком состав караула, я, как правило, брал с собой Светланова. Лучшего помощника не сыскать. О таких иногда говорят: «Заводной малый». Равнодушие, как черта характера, отсутствовало начисто. Энергии Светланова хватило бы на десятерых. Это он загорелся мыслью заменить в караулке жесткие диваны пружинными. Десять дней Светланов и еще несколько ротных умельцев строгали, пилили, клеили... Когда же мы пришли в караул, кто-то из солдат прилег на диван и блаженно протянул:

— Как в мягком вагоне...

Светланов радовался. Он схватил меня за руку:

— Присядьте, товарищ ефрейтор... Как? Ничего?

Диваны действительно хороши. Еще не одна отдыхающая смена помянет Светланова добрым словом.

Идеи не покидали Светланова. Он организовал в караульном помещении библиотечку. Соорудил с ребятами стеллажи для книг... Как-то пришел ко мне с пустой банкой из-под сапожного крема и говорит:

— Товарищ ефрейтор, сколько мы таких банок выбрасываем... А что, если собрать их, а потом на завод отправить...

Предложение сорвала транспортировка. Оказалось, что стоимость посылки с пустыми банками немногим меньше, чем цена такого же количества банок с кремом.

Дожди тем летом часто гостили в наших краях. Однажды с полудня тучи обложили небо. А вечером, когда мы заступили в караул, настоящая гроза разверзлась над нами. Молнии рубили небо столь час-

то, что теперь уже темнота казалась кратковременной, как вспышка...

В половине третьего, оставив вместо себя Светланова, я пошел проверять посты. Молнии полыхают далеко на востоке. Но небо в тучах. И дождь, мелкий дождь... Он делает ночь липкой и унылой. Рядом со мной часто дышит рядовой Кравчук из бодрствующей смены. Мы идем быстро. Нужно обойти все посты...

На постах все в порядке. Возвращаясь по тропке вдоль озера, я спросил:

— Светланов здесь накрыл щуку?

— Ага, — отозвался Кравчук и, помолчав немного, добавил: — Товарищ ефрейтор, Светланов нынче плакал.

— Выдумываешь? — не поверил я.

— Точно. В курилке... Побачив меня и объяснил: дым в глаза попал... Смех один! Я-то зрячий...

Мы вернулись. Бодрствующая смена сидела за столом. Светланов что-то негромко рассказывал. «Молодец», — подумал я. Бодрствовать с двух до четырех очень трудно. Кто хоть разок побывал в карауле, тот знает почему. Спать хочется.

Мы сняли оружие и, стараясь не шуметь, подсели к столу.

Светланов продолжал:

— ...Служил мой отец в Дальневосточной армии. На самой маньчжурской границе. А время тогда было беспокойное. Самураи вели себя нахально. И был в полку один пост. Самый дальний. Кругом тайга. А на полянке — длинный-предлинный склад ОВС. И вот однажды в четыре утра пришел разво-

дящий со сменой. Глядь-поглядь, часового нет. А склад цел-целехонек... Даже пломбы на месте... Думали, гадали. Куда часовой делся? Потом вспомнили, что у него кто-то из родичей кулаком был. И решили, что перебежал парень к самураям... Следующий состав караула был проинструктирован особо. Заступили на посты комсомольцы-отличники... Что ж вы думаете? Ночь, ветер... Темень — глаза выколоть можно. Меняют смену в 12 ночи — нормально. В два — все хорошо. В четыре приходят — часового нет... И опять никаких следов борьбы. И пломбы, как пятаки, нетронутые... Тогда был отдан приказ ставить на этот пост двух часовых сразу... Служил в полку один старшина-сверхсрочник. Мужик мудрый. Таежник. И вызвался он заступить на этот таинственный пост. А в напарники моего отца выбрал. Достал старшина из каптерки две огромные овечьи шубы. И, ничего не объясняя, взял их с собой в караул. Ночью, отправляясь на пост, старшина берет шубу, другую дает отцу и говорит:

— Набрасывай... Да только не в рукава.

А время летнее. Отец влезает в шубу, а сам думает: «Ежели кто нападет — амбец! — руки не поднимешь...» Заступили на пост. Два часа ночи. Луна выходит поздно. Ветерок в тайге шумит. Не так, чтоб сильно, а шагов собственных не слышать. Жутко! Ходит отец с одной стороны, старшина с другой... Иногда словом перекинутся. Время идет. Вот уже и смена должна быть с минуты на минуту. Восток розовеет стал. Вдруг по другую сторону, где старшина, значит, — глухой стук, словно упало что-то тяжелое. Потом выстрел... Отец на подмогу! Смот-

рит, старшина на земле лежит без шубы. А шуба его промеж кустов в лес убегает...

Светланов закуривает. Наши глаза горят нетерпеливым любопытством.

— И знаете, кто это был? Тигрица уссурийская... Логово ее по следам крови отыскали. Бросилась она старшине на спину, заграбастала шубу — и в лес... Тут он ее и ранил...

— Смекалистый парень, — сказал кто-то из солдат.

— Таежник...

Я ухожу в свою комнату. Слышал ли Светланов этот рассказ из уст отца? Или сам придумал? Неважно. Главное — бодрствующая смена не будет засыпать над шашками. Тема для разговора есть...

Вскоре ко мне заглядывает Светланов. Лицо у него бледное, усталое. Глаза красные, словно он и вправду плакал.

— Пойди отдохни, — говорю я.

Он качает головой. Спрашивает, можно ли закурить. И после заметного колебания говорит:

— Товарищ ефрейтор, вы пишете стихи... Проверьте это письмо, что нескладно, исправьте... Мне никак нельзя делать ошибок.

И я читаю письмо, написанное на листке ученической тетради крупным корявым почерком. Письмо девчонке, плохой и хорошей, которая не ждет солдата, а встречается с каким-то Федькой Шерстобитовым — студентом и пижоном. Письмо написано не блестяще. Я берусь творить его заново. Что я знаю об этой Галке? Она учится в техникуме и считает себя очень грамотной. Трудно писать незнакомой...

— У тебя есть фотография?

Я не психолог, но мне кажется, что, взглянув на фото, я сумею составить мнение о человеке. Светланов достает из бумажника темный квадратик, завернутый в слюду. Я смотрю на фотографию: круглое лицо, шестимесячная завивка. Я бы такую не полюбил. Когда вновь сажусь за стол, до меня доходит мысль: это и хорошо, что все любят разных. Пишу... Пишу со злостью. Даже стихи не захватывали меня так...

Позже Светланов переписывает все своим почерком. Письмо теперь будет без ошибок. Галка получит его и удивится. А может, и нет...

Солнце забирается на мои телефоны. Я открываю окно. Лесная свежесть и щебет ласточек даны мне в награду... Приходит Светланов.

— Письмо хорошее, — говорит он. — Но посылать я раздумал. Не поймет она!

— Не поймет? И черт с ней. Смотри, какое солнце над озером, сколько красок в небе и на воде... Ты запомни этих ласточек, этот рассвет. А завтра будет другой. И тоже необыкновенный. И девчонка будет. Единственная. Настоящая. Та, что никогда не изменит и всегда дождется. Главное — найти ее, узнать, увидеть... Для этого нужно иметь чистое сердце. И веру — необъятную, как эта синь...

ДОЖДИ

Пишущая машинка «Ideal» — тяжелая, чугуная — беспрерывно трещала в штабе. На ней печатались приказы, командировочные предписания, инструкции караулам и даже любовные письма, которые писаря строевой части отправляли своим де-

вушкам. Машинка была старая, с маленькой кареткой, чем-то похожая на гармошку. Вся полковая жизнь вертелась вокруг пишущей машинки. Мишка Истру уверял, что рано или поздно на этой машинке будет отпечатан приказ о присвоении нам сержантских званий.

В тот день я был разводящим и привел в штаб караульных, чтобы сменить часового у знамени. Из строевого отдела вышел писарь Парамонов, читая на ходу листок бумаги, только что вынутый из машинки. Увидев меня, он приветливо ухмыльнулся и шепнул:

— Учения...

Еще вчера, на закате, пошел дождь, и плащ-палатка моя топорщилась, как рогожа. И серое небо, на котором и туч-то настоящих не было, висело низко. Мокрые деревья чуть ли не доставали до него макушками. А озеро за нашей казармой смотрело вверх тоскливым, помутневшим глазом.

Честно говоря, парамоновскую новость я воспринял без энтузиазма. Провести двое-трое суток под дождем... В этом нет ничего хорошего. Да и польза относительная... В грязи застрянет какая-нибудь машина, десятка три парней заболеют гриппом. Может, я и не прав. И скорее всего не прав. Но тогда я рассуждал именно так.

На всякий случай, когда мы вернулись из караула, я приказал отделению наложить на сапоги побольше жировой смазки, подготовить вещмешки и плащ-палатки.

— Другим взводам не сообщай, — предупредил лейтенант Сиротов. — Пусть наш самым первым по тревоге окажется...

— Поздно, — сказал я. — Я еще в карауле рас-трепался.

— Эх, Игнатов, Игнатов... Недальновидный ты парень. Одним днем живешь...

На самом же деле я никому не говорил о предстоящих учениях. Но мнение мое о Сиротове, сложившееся в первые дни службы во взводе, менялось не в лучшую для него сторону. Мне, например, не нравился его роман с библиотекаршей. То, что муж ее был болен, а Сиротов пользовался этим... Не знаю. Но здесь что-то было грязное, недостойное порядочного парня. Правда, можно объяснить: в гарнизоне крайне мало женщин. Объяснить, но не оправдать. И в служебном плане у Сиротова были недостатки. Он любил показуху. Пыль в глаза!.. Раз, два... Начальство рвение заметило, потом хоть трава не расти.

— Мне нужно в военторг. За сигаретами.

— Захвати на мою долю, — сказал Сиротов.

Но прежде чем уйти, я зашел в каптерку к старшине Буряку и поведал о предстоящих учениях.

— Ты дружбы с писарями не теряй, — сказал Буряк. — Писаря и адъютанты — крупная сила...

Старшина Буряк улыбнулся. Наши отношения налаживались. Все-таки можно ошибаться в людях... и радостно, когда человек оказывается лучше, чем ты о нем думаешь. Это то, что обогащает...

Магазин военторга белел на пригорке, метров четырехста левее клуба. Рядом с ним никаких зданий не было. Чуть поодаль простиралось стрельбище, а параллельно дороге на станцию тянулась заброшенная полоса препятствий.

Пожилая продавщица считала дневную выручку. Когда я открыл дверь, она быстро подняла голову и потом снова опустила ее, продолжая с профессиональной быстротой перебирать трешники.

Воздух в магазине отдавал плесенью, но прилавки и стеллажи, выкрашенные в цвет слоновой кости, были новыми; вероятно, запах проникал через открытую дверь со склада, где слышался грохот передвижаемой тары.

Вначале я был единственным покупателем и уже заплатил за пять пачек «Примы», когда вошел полковник Донской.

Я поздоровался.

— Привет, — ответил он. И, увидев сигареты, сказал: — Тебя не зря называли директором дымовой тяги... Прокоптишься, как эта щука...

Щука лежала в эмалированной посуде, сухая и узкая, как палка. Донской повел носом и осведомился у продавщицы:

— Чем это пахнет? Странный запах.

Как только он вошел, продавщица прекратила считать деньги и теперь стояла в выжидательной позе. Услышав вопрос полковника, она ступевалась, покраснела, но решительно бросилась в бой, словно боксер, повинующийся удару гонга:

— Никакого запаха нет.

— Из нас двоих что-то кому-то кажется... — изрек полковник с усмешкой. Но я знал эту усмешку. Лиля тоже так усмежалась, а потом злилась, как сатана.

— Игнатов, у тебя насморка нет? Ты что-нибудь чувствуешь?

— Так точно... Запах плесени.

Полковник Донской был известен своей особой строгостью к снабженцам. Возможно, потому, что он и сам мог приготовить все — от гречневой каши до самбука из яблок, абрикосов или кураги. Возможно, исключительно из принципиальности, но он добился такого положения, что в нашей столовой кормили отлично, как нигде в округе. Рассказывают, во имя справедливости он поступал круто и решительно. Еженедельно, в день, который был никому не известен, он приходил в столовую, садился за первый попавшийся стол, брал солдатскую миску и ложку и снимал пробу.

Секундная стрелка не успевала обернуться вокруг циферблата, как дежурный по столовой приносил полковнику поднос с первым и вторым, усиленными жировыми резервами, но поздно. Резервы доставались солдату, из миски которого хлебал Донской. А через зал к столу полковника трусцой бежал повар, с лицом белым, как колпак:

— Товарищ полковник, дежурный повар рядовой Отченаш по вашему приказанию прибыл.

— Пять суток! — показывал на пальцах полковник. — Записку об аресте получите у дежурного по части...

А может, это легенда? Но рассказывали так. И могу подтвердить одно: когда мы прибыли в часть, порядок в столовой был отменный.

...Услышав мой ответ, полковник сказал продавщице:

— Ефрейтору Игнатову, как и мне, кажется запах плесени... Вы в меньшинстве, уважаемая хозяйка.

Он пригласил, и мы прошли за прилавок. В складском помещении стены были побелены и

полки выкрашены в тот же цвет слоновой кости. Мешки с сахаром, с сушками аккуратно стояли на деревянных подстилах. В холодильнике лежали сыры и сливочное масло. Сыростью несло из той части склада, где не горел свет. Что это? Полковник сморщился... Круги полтавской колбасы, зеленые от плесени, похожие на ужей, навалом лежали на полке.

Донской повернулся к продавщице, рядом с которой испуганно моргала ее подсобница, и начал... Это был разнос! Такое нужно услышать... Продавщица клятвенно обещала навести крепкий раствор соли и протирать колбасу, если потребуется, до самого утра.

...Полковник обещал подвезти меня до казармы. Он купил шуку. И мы забрались в его «газик». Личным шофером полковника был Коробейник. Неказистый солдатик с настырными тонкими губами. На меня он всегда смотрел так, словно год назад я одолжил у него червонец и теперь делаю вид, что позабыл.

— А щучка ничего, — сказал полковник. — Любишь ловить рыбу?

Дождь сек ветровое стекло, и дорога в свете фар казалась размытой, будто не в фокусе.

— Ловил ставридку на самодур, — с грустью вспоминал я. — На берег посмотришь, а он словно нарисованный... Лодка качается... Если косяк идет, только успевай вытаскивать.

— Поедем как-нибудь на ночь, — предложил полковник. — Возьмем с собой Лилю, Коробейника... Здесь в пятнадцати километрах озеро есть... Сказка! Рыба сама в лодку бросается. Поедем?

— Поедем!..

Туман лежал низко, у самой воды. Он был прозрачным, как разведенное молоко. Я раздвигал камыш руками, и они стали мокрыми и холодными, как лягушки. Это сказала Лиля. Она шла сзади, приподняв платье. Шлепала по воде длинными, загорелыми ногами. Она перехватывала мой взгляд и краснела. Тогда я отворачивался и видел тысячи росинок, блестящих на камышах. Тысячи росинок... И больше ничего.

У меня из-под ног вылетела утка. Маленькая, серенькая, она прыгнула, как мячик, стремгнула над камышом и пропала из вида.

Лиля капризничает:

— Хватит... Я хочу есть...

Передразниваю ее:

— Хочу есть... Хочу есть...

На том берегу солнце. В середине озера — лодка, как раз на полпути к солнцу. В лодке — Донской и Коробейник.

Лиля жует сухарь и рисует утку над камышами... Я не хочу ей мешать. Бросаю сучья в костер. А он седой-седой. И вредный — никак не хочет разгораться.

Коробейник тащит сетку, полную серебристых лещей. Они еще бьются друг о дружку. Полковник улыбается. Доволен. Я хватаю ведро и спешу за водой. Будет уха!

Мы хлебаем ее деревянными ложками, разрисованными петухами.

— Может, поговорим серьезно, Слава? — спрашивает полковник Донской. — Хватит смотреть на Лильку. Человек она и человек... Может, поговорим серьезно. Что ты думаешь о жизни, ефрейтор Игнатов?

Что я думаю о жизни?

Что я думаю...

Не было такого разговора. И рыбалка на озере не состоялась...

Полковник Донской высадил меня у казармы и поехал домой. А утром сыграли тревогу.

Есть слова, которые нельзя затаскать. Тревога — одно из них. Ее сыграли в половине шестого, на рассвете. И когда я выбежал из казармы, первое, что меня поразило, был резкий запах бензина. На плацу рычали машины. Они ползали, будто поживаясь и морщась, недовольные мелким дождем и скользким грунтом. И сами они были мокрые. Сонные шоферы перебранивались между собой и курили сигареты. Поэтому ветровые стекла время от времени становились багряными, и тогда казалось, что выглянуло солнце. Но солнца не было. Просто шоферы делали крепкие затяжки.

Мое отделение ехало с артиллеристами, приданными нашему взводу. К машине было прицеплено орудие. Его длинный ствол то смотрел в серое небо, то прыгал ниже горизонта, угрожающе нацеливаясь на машину, идущую сзади.

В восемь пятнадцать мы развернулись в цепь и долго шли болотом. Наша рота шла тряским мхом, словно по матрацу. Синие бусинки черники дразнились на каждой кочке. Порою я ловчился, черпал прокуренными пальцами горсть холодных ягод. Другие тоже нет-нет да угощались черникой. И если б не оружие, не каски — все это напоминало бы загородную прогулку.

Вода проступала сквозь мох, мутной жижицей лезла на голень сапога. А когда я поднимал ногу для следующего шага, вода круглыми кап-

лями дрожала на жирно смазанной кирзе. Чувствуя, что портянка в сапоге сухая, я смело ступал дальше...

Минут через сорок слева стали кричать:

— Рота, выходи строиться на дорогу!

Был завтрак.

Я стоял в очереди возле полевой кухни, когда увидел солдата со стопкой алюминиевых тарелок. Он подошел прямо к повару, и повар перестал брать у нас котелки, а ловко, постукивая черпаком, наполнил тарелку разваристой пшенной кашей, в которой темнели куски мясной тушенки.

Под невысокими осинами на плащ-палатках сидели офицеры штаба. И каша в тарелках предназначалась для них. Полковник Донской сидел спиной к кухне, он что-то говорил, поднимая руки вверх и в стороны. Потом солдат принес кашу в алюминиевых тарелках. Офицеры стали завтракать.

Небо было пятнистым: синим, желтым, но больше блеклым. Волнистые облака шли с запада; солнце светило на опушке леса, а там, где располагалась кухня, лежала тень.

Я тщательно подчищал хлебной коркой котелок, когда услышал голос полковника Донского:

— Вкусно, Игнатов?

Полковник проходил. Но я быстро поднялся и ответил:

— Так точно.

Полковнику пришлось остановиться. Он протянул мне руку.

— А ты замечал, что на учениях всегда пища вкуснее? — спросил он.

— Свежий воздух делает ее такой.

— А у нас в гарнизоне задохнуться можно, — весело возразил полковник. — Или ты в наряд по кухне не ходил?

— Ходил неоднократно.

— Котлы помнишь?

— Большие...

— В том-то и беда... В громадном котле так не пригостишь, как в маленьком...

Он обратился к замполиту. Сказал, что нужно заняться реконструкцией полковой кухни. И вместо одного большого котла поставить три маленьких.

Они пошли, продолжая разговор. И я так и не узнал, согласен ли замполит реконструировать кухню. Или его устраивает та, что есть... Я видел, как полковник Донской вышел на дорогу. Фыркнул его «газик» и поехал вперед, туда, где дорога терялась в лесу.

Нам еще несколько раз приходилось наблюдать машину полковника. Она обгоняла колонну, останавливалась на обочине. Полковник выходил из машины и внимательно следил за каждым из нас. Часто одобрителное выражение его лица сменялось озабоченностью, и тогда он громким голосом делал замечание какому-нибудь солдату или сержанту.

Во второй половине дня наш батальон был выдвинут в авангард с задачей обеспечить беспрепятственное продвижение главных сил полка. И в случае встречи с численно превосходящим противником захватить выгодный рубеж, чтобы дать возможность развернуться главным силам. Нас поддерживали танки и артиллерия.

Поздно ночью встретили «противника». Начался бой. В противогазах. Было скользко. Я несколько раз шлепнулся. Очки заляпала грязь. Пока оттирал, отстал от отделения. Кто-то похлопал меня по плечу и глухо (в маске) сказал:

— Чего ругаешься?

Я отмахнулся. И побежал дальше. Лейтенант Сиротов догнал меня, недоуменно спросил:

— Игнатов, неужели не узнал полковника?

— Виноват, — сказал я. — Противогаз у него как и у меня. Третий номер... Светланов! Ко мне! Артиллеристы выкатывали орудие.

— Помогите! — распорядился Сиротов и поспешил на левый фланг.

Кто-то поскользнулся, и артиллеристы выпустили станины. Орудие поползло юзом. Взлетела ракета. И лес словно выбелили... Но все увидели, что метрах в десяти склон сопки обрывается уступом. И орудие ползло к этому уступу, заметно ускоряя ход. Я побежал к станинам, ползущим по траве, словно две жирные змеи... Но, как назло, ракета погасла; я едва успел коснуться станины судорожными руками — за что бы уцепиться... Внезапно Светланов — я узнал бы его фигуру из тысячи — бросился вперед, прыгнул и ухватился за ствол. Вероятно, силой прыжка он думал развернуть орудие, тогда бы оно непременно застопорилось. Но случилось наоборот, как на весах! Светланов приподнял станины, тормозившие своей тяжестью движение. И орудие покатилося быстрой.

— Прыгай! — закричал я и сорвал противогаз. — Прыгай!

Но Светланов, видимо, растерялся и теперь просто висел на стволе, как гиря. Орудие катилось

к обрыву... И если Светланов промедлит еще секунду, то потом будет поздно. Орудие подомнет его и раздавит... Но тут... Я увидел, кто-то метнулся к Светланову, сбил его. Миг! Но мне показалось, что это был тот человек, который пару минут назад похлопал меня по плечу и спросил:

— Чего ругаешься?

Если Сиротов не ошибся, то это полковник Донской.

Левое колесо зацепилось за валун. Орудие развернулось так резко, будто прыгнуло в сторону. Артиллеристы вцепились в станины.

В темноте кто-то испуганно крикнул:

— Полковника придавило!..

Донской умер по дороге в госпиталь.

Машина, на которой его везли, не доехала до города и вернулась в расположение части.

Учения были прекращены поздно вечером. Когда мы возвратились в казармы, нужно было чистить оружие, и противогазы, и лопатки. А все были усталые, неуравновешенные. И приходилось следить в оба, чтобы кто-нибудь не сунул мокрую лопатку в пирамиду.

Наконец сыграли отбой. Загорелась дежурная лампочка. Они все одинаковые, эти дежурные лампочки. Я сказал старшине Буряку, что мне нужно сходить к Лиле. Это совсем рядом. Пятьдесят метров.

Старшина сказал:

— Завтра трудный день! Тебе следует выспаться.

— Легко понять, я не усну.

— Ладно, — сказал старшина Буряк. — Увидимся на подъеме.

Свет в окнах Донских не горел. Я пошел в штаб, но там узнал, что тело полковника лежит в клубе. Это на самой окраине городка, в бывшей кирке. Вокруг — сад. Роскошный. Говорили, что это вовсе не сад, а старое кладбище. Только могил мы уже не застали: давно заросли...

Дождя больше не было. Но небо выглядело совсем темным. Тучи бежали так плотно, что ветер не мог их разогнать. Он лишь качал мокрые ветки, капли падали, будто накрапывал дождь.

Бледная полоска света лежала на тяжелой двери с кольцом вместо ручки. Дверь заскрипела, когда я входил в клуб. Солдаты, что стояли на освещенной сцене, возле гроба, посмотрели в мою сторону. Но в зале было темно. И я по опыту знал, что со сцены меня не видно.

— Товарищ старшина, это вы? — сказал один из них.

Я не ответил. В зале было пусто. Голос солдата звучал, словно в трубе. Я попятился назад. И вдруг из самого темного угла услышал:

— Слава...

Раньше я не увидел Лию потому, что она была в черном плаще и волосы ее покрывал черный капюшон. Она не плакала. И по лицу трудно было угадать, плакала ли она вообще. Она сказала:

— Это все из-за дождя... Будь сухо, ничего бы не случилось.

— Мне нужно было броситься к Светланову. Я командир.

— Отец тоже командир, — быстро сказала Лия и тихо поправилась: — Был...

Она высвободила ладошки из моих рук и пошла вперед, за дверь. Луна вдруг выглянула из-за туч. Рваные их края, и ветви деревьев, и крыша кирки отливали изломистой сталью.

Мы долго шли по дороге, шли молча... Встречный свет фар заставил нас остановиться, отступить на обочину. Машина затормозила. Шофер Коробейник открыл дверку. Из машины вышла женщина в светлом плаще. Очень похожая на Лилю. Только заметно старше и полнее. Я сразу понял, кто это.

Женщина спросила:

— Он лежит в клубе?

— Сначала нужно поговорить, — ответила Лиля и пошла к дому, до которого оставалось еще метров сто.

Женщина шла сзади.

— Не оставляй меня одну, — шепнула Лиля. — С глазу на глаз я не смогу быть с ней храброй.

— Хорошо, — сказал я.

Женщина спросила:

— Как это случилось?

Лиля не ответила. Она протянула мне ключ, словно хотела что-то подчеркнуть этим. Я открыл квартиру. Мы вошли втроем. Я включил свет. Женщина положила на стол большую яркую сумку и осталась стоять в плаще. Он оказался голубым. Лиля подала мне свой плащ, я повесил его на вешалку.

— Зачем ты приехала? — спросила Лиля, холодно глядя на женщину.

— Пустой вопрос...

— Ты же врала ему... — сказала Лиля.

— Сейчас не время говорить об этом.

— Именно время. Он всегда хотел знать, почему ты лгала...

— Это все громкие слова... Громкие слова, и не больше... Разве тебе знакомо чувство одиночества...

— Ты врала ему. Он говорил мне, — упрямо повторила Лиля.

— Я была одинока. Ты понимаешь, что значит жить вместе и чувствовать себя одинокой. Девчонка!

— Это неважно. Я такая же девчонка, как и ты...

— Не говори пошлостей!

— Не хочу врать. Не хочу... И тебя видеть не хочу!

— Ты несешь чепуху. Здесь посторонние...

— Он не посторонний, — ответила Лиля. — Он теперь единственный человек, которого я люблю... А тебя ненавижу! Ты... Чванливая, разжиревшая глупость... И себя я ненавижу за то, что у меня твои глаза, лицо, губы... Мне делается мерзко, когда я думаю об этом.

Женщина взяла сумку и торжественно покинула комнату, но вид у нее был пристыженный.

Лиля упала на диван. Плакала навзрыд. Я не успокаивал. Я никогда не разговаривал так со своей матерью. И не знал, как следует утешать в подобных случаях.

Она как-то незаметно уснула. Я сидел за столом. Курил сигарету за сигаретой. В комнате стало дымно. Я раздвинул шторы и открыл форточку. Светало. Небо было бирюзовым. За дорогой между деревьями редел низкий туман. Я выключил свет.

И Лиля проснулась. Она зябко поежилась и села на диван, поджав колени.

— Знаешь, что соседка сказала, узнав о гибели отца? И как сказала... С завистью: «Время-то какое... Цветов сколько!»

Она слезла с дивана, подошла к окну. Распахнула раму. По дороге шел наряд караула. Солдаты были заспанные и сутулые... Потом заржала лошадь. Мимо проехала телега водовоза. С полковой пекарни утренний ветерок, тихий, приносил запахи свежего хлеба. В штабе в крайнем окне уже горел свет. И явственно слышался стук пишущей машинки...

РАКУШКА

Они подружились в вещевом мешке, и с тех пор ракушка пахла махоркой. Надо было закрыть глаза и проникнуть в память глубоко-глубоко, напрягаясь до боли, чтобы представить тот день, когда я прыгнул со стенки и достал ракушку на сером покачивающемся дне.

Лиля пристально смотрела на ракушку незнакомым мне взглядом, наконец, поднесла ее к уху. Качнув головой, тихо сказала:

— Шумит.

Распахнутые створки окна касались рябины. Надломленная ветка свисала к земле, вместо листьев на ней темнели узкие коричневые трубочки, а между ними — ярко-красные грозди. Это особенно бросалось в глаза. На остальных ветках плоды были еще зелеными.

Воздух в комнате отдавал нафталином. Соседи вытаскивали купленный у Лили сервант. Хлопья

пыли, притаившиеся за сервантом, зашевелились. В комнате стало просторно и неудобно.

В окно я видел кусок улицы, «газик» с поднятым капотом и промасленный зад шофера Коробейника, склонившегося над мотором...

Лиля спрятала ракушку в сумку, где лежали деньги и вызов из Института кинематографии. Она вновь решила попытаться счастья. И я предчувствовал, что ее примут на художественный факультет. У меня было такое предчувствие.

Вошел Мишка Истру. Принес полный котелок малины. Сказал:

— Сбереги котелок до Москвы. И угости малиной самых красивых абитуриенток. Передай, что Мишка Истру думает о них и кланяется им земным поклоном.

Лиля усмехнулась, поставила котелок на подоконник.

— Надо сесть, — сказала она.

Стульев нет. Лиля присела на чемодан, а мы с Мишкой на корточки. Юбка у Лили была короткой, и Мишка, не стесняясь, разглядывал коленки. Я поднялся и сел перед Мишкой. Лиля ничего не поняла.

Коробейник просигналил, потом крикнул:

— Готово!

Я взял чемодан, Лиля — сумку.

На улице душно. Соседи выглядывают в окна. Я и Лиля садимся в «газик», на заднее сиденье. Мишка остается на дороге. Он поднимает руку. Мы поворачиваемся и смотрим на Мишку до тех пор, пока пыль не заслоняет его от нас.

— Забыли котелок, — сказала Лиля.

— Вернуться? — равнодушно спросил Коробейник.

— Не надо, — качнула головой Лиля. У нее была такая привычка — качать головой. И еще много других привычек, менее заметных. Человек — сплошные привычки, уверяют специалисты. Сплошные и неповторимые.

Коробейник поправил зеркальце так, чтобы видеть заднее сиденье. Мне не по душе разъезжая физиономия нашего шофера. Я с удовольствием проводил бы Лилю пешком, но до станции семнадцать километров.

Мы сидели на расстоянии друг от друга, молчали... Потом я нашел Лилину руку и сжал ее... Машина быстро ехала лесом. Но вот мотор словно поперхнулся. Мы остановились. Коробейник вылез. Поднял капот. Ворча, стал возиться в моторе. Я придвинулся к Лиле. Она отстранилась рукой — не делай глупостей! Коробейник захлопнул капот. Сказал мне:

— Подтолкни.

Я выбрался из машины, уперся руками в теплый корпус.

— Сильней! — крикнул Коробейник. — Еще немножко...

Нажал что было сил... Чихнув, машина рывком сорвалась с места. И я во все свои сто семьдесят пять сантиметров растянулся на дороге. Когда встал, машина катила уже далеко. Скоро я совсем перестал ее видеть... Все было настолько неожиданным, что, пожалуй, лишь спустя минуту я сообщил, что случилось. Коробейник бросил меня на дороге. Скот! Разумеется, Лилия заставит его вернуться. Но мне было обидно — так глупо попался.

Я стряхнул пыль, сел на камень и стал смотреть вниз. Земля была серой, словно выстланная халвой. Я не знаю, почему в ту минуту вспомнил халву. У меня так бывает...

Однажды, когда сдавал экзамены в МГУ, я ехал в метро. Теснота. Но я стоял в дальнем конце вагона и смотрел поперек голов, и вагон вдруг оказался очень длинным. А лампочки на потолке сидели так тесно, словно пуговицы на жилетке. В сорок седьмом году отец привез из Кореи костюм с жилеткой. Меня поразило такое количество пуговиц. Только они были черными... А лампочки белыми. И все равно я мог сравнить их лишь с пуговицами на жилетке.

А вот и машина. Она затормозила около меня и начала разворачиваться. Лиля открыла дверку. Усаживаясь, я спросил:

— Чем объяснить эти дешевые фокусы?

— Он тебя не любит, — сказала Лиля.

— Если б полковник Донской не пошел в его отделение, — сказал Коробейник, — он бы до сих пор ездил в этой машине.

— Он спас человека, — сказала Лиля.

— Игнатову нужно было следить за своими солдатами... Чтобы они не прыгали, как обезьяны, — возразил Коробейник.

— Все верно, — сказал я.

— Отправляйся поезд на час позже, я пошла бы пешком, — заявила Лиля.

— Мне приказано отвезти... Я выполняю приказ.

— Быстро меняются люди, — сказала Лиля. — Когда отец был жив... Коробейник ходил — сама услужливость...

Коробейник недовольно засопел, ничего не ответил. До станции в машине никто не сказал ни слова.

Блеснуло озеро. Вдоль берега рядами стояли крытые дранкой дома. У двухэтажного кирпичного здания, где размещались почта, сберкасса и продовольственный магазин, машина свернула влево, и сразу стали видны станционные пути и два поржавевших семафора.

Старик в серой навывпуск рубашке, переходя улицу, попятился назад, пропуская машину. На левой руке у него блестела вязка свежей рыбы. Не диво для здешних мест...

Поезд приходил в шестнадцать тридцать две. Он стоял ровно три минуты — этого было вполне достаточно, чтобы выбросить почту и принять одного-двух пассажиров. Поезд непривычно куцый: четыре вагона. Я приехал сюда в таком. А через двадцать минут в куцем поезде уедет Лиля.

В станционном буфете висели плюшевые шторы и на столах стояли свежие цветы. Буфетчик, подслеповатый седой мужчина с тонкими, как хворост, пальцами, вышел из-за стойки, скорбно и даже как-то виновато пожал Лиле руку. Сказал:

— Садитесь у окна. Есть настоящий чешский портер «Сенатор». Две бутылочки?

Портера на витрине не было, но буфетчик скрылся за шторой в глубине помещения.

Я сел напротив Лили. Отсюда я хорошо видел станционные пути и два ржавых семафора.

Буфетчик принес бутылки. Красивые. С золотым верхом.

— Спасибо, Семен Ильич, — сказала Лиля.

— Ваш отец, Лиля, был умнейшим человеком.

Я говорю... Не потому, что так принято говорить о покойниках.

— Выпейте с нами, — сказала Лиля.

— Нет, — сказал буфетчик. — Скоро поезд... мне надо что-то подготовить...

Он ушел. Я открыл бутылки. Лилия отхлебнула:

— Давай выпьем... И надо поговорить.

Она достала из сумки сигареты.

— Я без вступлений, — сказала она. — Ты нравился отцу... Но он не хотел, чтобы мы с тобой встречались. Понимаешь... Он считал, что у тебя — призвание к службе. Ну, словом... Есть данные стать офицером. Офицером по большому счету. И во взвод Сиротова ты попал не без участия отца... Понимаешь? Он считал, что военные училища должны пополняться за счет людей из войск. Что командиры подразделений должны сами подыскивать подходящих кандидатов... В роте, в батальоне это сделать легче, чем на приемных экзаменах. Он очень серьезно относился к профессии офицера и говорил, что людям без таланта, без призвания нельзя доверять воспитание солдат. Он в «Красную звезду» на эту тему статью готовил...

Она подняла стакан, сделала несколько глотков.

— Отец присматривался к тебе... Однажды прямо сказал мне: не морочь Славке голову. Не хочу, говорит, чтобы с ним приключилась моя история. Ты слишком на свою мать похожа, все вы такие... с невинными глазками. У него были основания так думать. Как ты убедился, внешне я похожа на мать... Но клянусь... Я никогда не поступлю с тобой так, как она с отцом.

Она говорила очень тихо и очень искренне.

Но уже после первых слов мне захотелось прервать ее. Не люблю, когда меня хвалят. Это обязывает быть хорошим. Очень правильное слово — хороший. Только человек всегда сложнее.

Я молчал и смотрел на белую скатерть. Смотрел и молчал... Но чудо! Слова Лили действовали на меня необыкновенно, чем-то очень скрытым. Ощущение неловкости исчезало быстро и заметно, словно льдышка на теплой ладони. Я понял — это не милая болтовня перед разлукой, а большой разговор начистоту.

— Я еще никому не признавался... — сказал я, оторвав взгляд от скатерти. — И больше всего боялся говорить об этом тебе, Лили. Я и сам почувствовал, когда принял отделение, что еще ничто в жизни не было мне по душе больше... чем все это... Мне нравится работать с людьми. У меня легко получается. Этим не хвалятся, но я бы написал тебе. Наверно, написал... Мне казалось, что если я стану офицером... А ты художником кино... То мы разойдемся, как в море корабли... Знаешь такую песенку? Вот так... И еще что смущало меня. Вчера мне хотелось быть журналистом, сегодня офицером. Где гарантия, что завтра я не обнаружу скрытое призвание к ихтиологии?..

— Гарантия — сам ты. Вчера ты был мальчишкой. А сегодня... В жизни очень важно определить свою дорогу. Важно не прыгать, как белка с дерева на дерево...

— Когда я нес белку, то почему-то думал о лунной радуге... Я не знал, что будешь ты. Странно, почему мне тогда пришла эта мысль. Я чувствовал, что встречу тебя. Я верю в такое чувство... Когда-нибудь его объяснят научно...

— Может, это как птичьи тропы...

— Может... А что было, если бы в лесу не поймали белку? Я бы не смог познакомиться с тобой.

— Но ее поймали.

— Да. И еще у меня заболел зуб.

— Такое может случиться только в военном городке. Я имею в виду не зуб, а все вместе... Я с семи лет живу в военных городках. В них есть своя прелесть. Хотя... Когда я пыталась хандрить и твердила, что мне надоели военторг и кинофильмы два раза в неделю, что здесь невозможно жить, отец говорил: жить — это вовсе не значит брать, а что отдать, дочка, у нас всегда найдется...

— Правильно говорил...

— Он всегда говорил правильно. Я все чаще ловлю себя на том, что повторяю его слова, выдавая за свои... Но с тобой я не хочу так... Считай, что это он говорит, а не я. Ты можешь мне верить.

— Я знаю... Да, могу.

В буфет заглянул патруль, однако, узнав Лилю, патрульные вежливо поздоровались и вышли.

— Пора, — сказала Лиля. — Время...

Поезда здесь никогда не опаздывают. Короткие расстояния, короткие стоянки. Задерживаться негде.

Дежурный по станции — самый главный на перроне. Лапа семафора задрана вверх. Добро пожаловать. И вот паровоз показался. Рельсы дрожат. И во мне дрожит что-то. Может, это и есть душа. Трясется, как будильник. Но я, конечно, виду не подаю. Целую Лилю на перроне, при всех.

— Когда теперь свидеться придется?

— Скоро, — говорит Лиля. — Скоро... Училище, которое ты выберешь, будет в Москве.

— Не выберу... Какой из меня офицер? Вот-вот заплачу.

— Не смейся. Ты подумаешь. У тебя есть время. Целых семь месяцев. Ты обещаешь?

У нее такие глаза... И проводник уже возвращает ей билет.

— Обещаю, — говорю я. — У меня целых семь месяцев. Обещаю...

А колеса больше не стоят на месте. Они еще вращаются очень медленно, но платформа уже плывет назад. Я иду за вагоном. Но он опережает меня. Лиля выглядывает из тамбура. Машет мне. Что это у нее в руке? Что? Ракушка. Моя ракушка, пахнущая махоркой.

— Обещаю! — кричу я. И в слове этом вмещается все, что я хочу ей сказать...

— Обещаю!

А ПОТОМ...

И опять лил дождь, холодный, чистый. Он стегал листья. Они льнули к земле — желтые, красные, будто кусочки пламени. А земля еще ненадежно держала их, обнимая мелкими песчинками.

Темнело... Не потому, что шел дождь. Просто была осень. Солнце убегало теперь за горизонт гораздо раньше, чем в июне, июле месяце...

Лиля уехала летом. Но я до сих пор помню, как куций поезд скрылся за поворотом. А я стоял на платформе и смотрел ему вслед с такой грустью и растерянностью, словно опоздал в свой вагон... Я повернул голову и увидел серое здание станции, полосатый шлагбаум и машину из нашей части, ко-

торая всегда приезжала к Выборгскому поезду за почтой.

Я забрался в кузов, положил руки на кабинку. Навстречу неслись телеграфные столбы, желтые дорожные знаки и припыленные, словно поседевшие деревья. Справа разворачивалось полковое стрельбище. Траву уже скосили. Копны свежего сена возвышались между мишенями.

Машина остановилась у военторга. Я слез, чтобы купить сигарет. Перекошенная кирка занимала полнеба. Она матово блестела цинковой крышей. Трубы духового оркестра старательно выводили мелодию вальса, грустную-грустную, и она плыла над магазином, над пыльной раздавленной дорогой и уплывала куда-то за озеро. А потом оркестр смолк. И я услышал голос Лили:

Счастье где-то бродит по дороге
И приходит снова на порог.
Надо только, чтоб на том пороге
Не погас заветный огонек...

Это полковой радист записал ее песню на магнитную пленку. Что-то сжалось у меня в груди, а мир вдруг стал таким ярким, будто я хотел рисовать его красками.

...Я смотрю на дождь. Вижу, как темнеет небо. По дороге на Рыбье озеро спешит ручей. Дорога красивая. В ней что-то от змеи, желтой, гибкой. И эти обнаженные березы на фоне голубых елей. Такое увидишь лишь здесь. Я, конечно, уеду отсюда. Я обещал. Но мне всегда будет помниться эта дорога на Рыбье озеро. В жизни есть такое, что мы должны помнить, как хорошие стихи. Помнить... Неужели счастье всегда в прошлом? Кто мне отве-

тит? Может, старшина Буряк. Он, оказывается, неплохой парень. Он кладет на мое плечо свою тяжелую, как лопата, руку. И говорит:

— Что, командир? Задумался. Грустишь...

— Слушай, старшина. Ты когда-нибудь видел лунную радугу?

— Радугу? Я такое видел... Я в твои годы...

— Нет. Ты отвечай...

— Лунную радугу? Зимой... В морозец.

— А осенью? Летом?

— Нет, не видел.

— А я хочу увидеть. И увижу обязательно.

— На кой она тебе сдалась? Что в ней хорошего? Невидная она уж больно...

Он смотрит на часы. Совета спрашивает:

— Скоро ужин... Может, шинельки наденем?

— На кой они... — не передразнивая, просто так, механически отвечаю я.

Лиля теперь студентка, а я сержант. Мне нравится быть сержантом. Кажется, полковник Донской не ошибся. На следующий год подам документы в всенное училище. Я уже написал об этом домой...

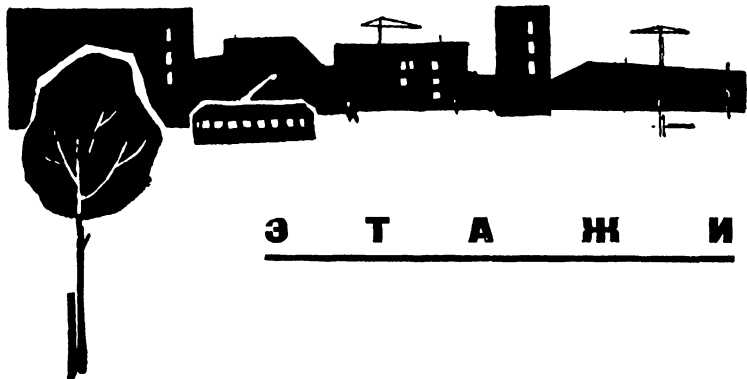
И брат Борис ответил мне, как всегда, небольшим, в тетрадную страничку, письмом. Он, конечно, забыл (или сделал вид, что забыл), как гонялся за мной с мокрой половой тряпкой и как я прятался от него на чердаке. Он заключил, что котелок у меня явно начал варить. И пожелал успехов...

Спасибо.

Последнее время я много читаю. И спорю с Мишкой Истру о счастье. Сура не спорит. Он собирается в отпуск: к дочке! У нас еще нет дочек, и мы спорим...

Ясное дело — счастье у всех разное. Яркое и скромное, легкое и трудное. Оно очень похоже на людей. Мишка считает, что главное — это везение. И счастливы лишь те, кто преуспел в жизни: вышел в люди.

А я не знаю, что такое «выйти в люди». Я просто верю в людей. Верю в такое счастье — простое и неброское, как лунная радуга.



Э Т А Ж И

Глава первая

„САМОВОЛЬНАЯ ОТЛУЧКА“

МНЕ опять приснился наш тральщик. И боцман Шипка, склонившийся над рундуком. И глаза боцмана — невеселые, как у обиженного юнги.

— Нет. Вы, может, и дождетесь, когда я уволюсь в запас. Но запомните: порядок в запас не увольняется. — Голос боцмана был тверд, словно корабельная обшивка.

Потом плыли огни справа по борту. Волны окатывали палубу и, шипя и пенясь, сползали за борт. А вверху, на капитанском мостике, кто-то большой, в мокром реглане громко кричал:

— Эхо... пеленг... дистанция!

Я проснулся и сел, вытянув ноги под просторным, но тяжелым одеялом. Шторы на окне не были задвинуты. И хорошо был виден угол комнаты и магнитофон, стоявший на столе. На спинке стула висели мой новый пиджак и гражданские брюки. Туфли стояли под стулом. И пахло сапожным кремом.

Мне стало неловко. Я понял: это не дело — разуваться в спальне. Здесь не кубрик, где по тревоге за секунды нужно попасть ногами в ботинки. Даже самое благое правило следует применять с учетом изменившейся обстановки — так учил боцман Шипка.

Стараясь не шуметь, я встал с кровати и вынес туфли в прихожую, под вешалку. Дверь во вторую комнату, большую, была закрыта, но все равно оттуда доносился храп Еремея. И я убедился, что у братца богатырские легкие. И пожалел Елену Николаевну. Конечно же, до моего приезда она спала в этой маленькой комнате.

Стало понятным театральное удивление на лице Стаса — теперь он удивлялся только так — и всплеск руками:

— Дорогой Макс! Ты словно зачарованный. Это верно, что Еремей твой брат. Но верно и другое: его двухкомнатные тридцать два метра — не гостиница Москва.

Факт! Здесь и спорить нечего.

Я тихо прикрыл за собой дверь. До окна ровно четыре шага. Пятью этажами ниже лежал пустынный, продуваемый ветрами проспект, и высокие фонари стояли над ним, склонив головы.

Примостившаяся под окном батарея, жарко на-

гретая, обожгла меня, когда я коснулся ее коленями, потянувшись, чтобы распахнуть форточку. Воздух с улицы, пахнувший дождем и бензином, нехотя вползал в комнату. И лишь когда я закурил и дым, причудливо извиваясь, поплыл к форточке, стало заметно, что тяга есть, но она там, под потолком, над моей головой, а на постели по-прежнему было душно.

Я посмотрел на часы, которые взял со стула. Два часа.

Вот и сменилась вахта... Поеживаясь со сна, сейчас кто-то стоит на юте. А ветер гуляет по бухте, и волны идут накатом, низкие, чепуховые. Хуже, если льет дождь, или падает мокрый снег, или туман, потеряв совесть, разлегся над морем. Тогда нет видимости. И гудки вспугивают ночь. Разные гудки, грубые и мягкие, звучные и хриплые, как и человеческие голоса. А прожектора словно сверла. Но туман, он хуже бетона: его не раскрошишь, не расколешь, не раздавишь...

Был случай, когда вот в такую ночь я стоял на вахте. И буксир из Новороссийска в трех метрах прошел у нас по левому борту. Я был тогда еще салага и не очень понимал, что к чему, а вот у боцмана Шипки седины прибавилось.

Все-таки странно и немного не верится, что больше не придется стоять на вахте, что не нужно ждать построений, что можно, черт подери, сейчас одеться, обуться и пойти по Москве куда глаза глядят, не спрашивая на это ни у кого разрешения.

А если так и поступить?!

Флотская привычка сработала безукоризненно, оделся быстро, точно на подъеме. Теперь аккуратнее, чтобы не скрипнула дверь, не щелкнул замок.

Что ни говори, а неудобно беспокоить в поздний час гостеприимных родственников.

На лестничных площадках пахнет кошками. И перед домом ни единой души. Странно слышать топот собственных шагов, так и кажется, что кто-то догоняет. А улицы длинные, словно морские мили.

Я люблю шагать и размышлять о жизни. Так лучше думается. Меньше путаницы в голове. Не верю, что можно открыть что-нибудь дельное, сидя в кресле.

Боцман Шипка учил:

— Беспорядок и хаос в мыслях могут позволить себе лишь актрисы и поэты. Мозг моряка должен работать точно и надежно, как хороший компас. Моряк обязан увидеть главное, отбросить второстепенное. И сделать правильные выводы.

Легко сказать: увидеть главное. Будто главное — это гриб-боровик, который прячется там, под кустиком. Да, чтобы отличить главное от второстепенного и никогда не ошибиться, нужно, наверное, не голову на плечах иметь, а Большую Советскую Энциклопедию.

Но боцман Шипка еще и говорил:

— Все знать и все мочь на земле нельзя. Но к этому нужно стремиться.

Он был начинен нехитрыми истинами, точно море рыбой. И, словно бывалый рыбак, выуживал их столько, сколько хотел. И эти истины боцмана Шипки были далеки от проповеди, как земля от солнца, потому что входили в нас при самом дружеском участии швабры, щелочи, масла... и даже простой морской воды.

Прости, боцман... Я сейчас не знаю, главное ли

для меня Алла или нет, но думать мне хочется о ней.

Когда Елена Николаевна поднесла к своим близоруким глазам телефонную книжечку, а потом назвала номер и сказала, что меня просили позвонить по этому телефону, я, естественно, спросил:

— Кто?

— Маленькая тайна, — ответила Елена Николаевна. А Еремей добродушно ухмыльнулся.

Но я сразу понял, чей это телефон. Просто немножко не верилось, что она еще помнит обо мне. И сердце предательски защемило, и я почувствовал, что оно у меня есть и что с ним надо считаться.

Телефон лежал на низеньком столике, как свернувшийся котенок.

— Алло, — сказал я.

— Да. Кто это? — спросила трубка Алкиным голосом. И я растерялся, услышав этот голос. И промычал что-то нечленораздельное, как бычок, которого укусил слепень. Но у Алки было кошачье чутье. И она вопросительно произнесла:

— Максим?

— Так точно, — ответил я. Мне еще хотелось сказать: «Есть!» или пехотное «Слушаюсь!», но повода не было.

— Приехал... Я рада.

— Ты не писала мне.

— Да.

— Ты могла бы мне писать. Матросские письма — бесплатные. — Я понимал, что несу чушь, но уж так получалось.

— Ой! Брюзжишь, как пенсионер. А я хочу видеть тебя. Приходи минут через десять. Я только поправлю волосы...

Я пошел. Но знал, что мы поругаемся. Собственно, ради этого мне и хотелось ее увидеть.

Вечер трусил холодной изморосью. Не успел я выйти за угол дома, как лицо стало влажным, словно покрылось испариной... Октябрь месяц редко баловал москвичей погодой. Я помнил, четыре года назад, когда призывался во флот и Алла провожала меня на Курском вокзале, дождь лил с библейской силой. Он лил и в предыдущие дни, студеной, густой. Накануне мы приходили прощаться с Красной площадью, у ГУМа Аллу пришлось переносить на руках, потому что поток захлестнул ее туфли. Я без спроса взял Аллу на руки. От неожиданности она не могла сказать и слова, лишь ужасно покраснела. Народа на улице оказалось немного. И все спешили и смотрели себе под ноги. Но было светло. И когда я поставил ее, Алла сказала:

— Вдруг из Кремля смотрят? Что о нас подумают?

— Поймут правильно.

Дождь стучал о камни. И Красная площадь ершилась маленькими фонтанчиками. Размытые купола Василия Блаженного напоминали яркие осколки радуги, застрявшей на крыше старого храма.

Мне всегда было приятно вспоминать этот день. Хотя тогда и ничего не случилось. Но часто в часы вахты или ночного дежурства я видел мокрое лицо Аллы... И ждал писем, но письма не приходили... Честно, я не терзался и не мучился, как некоторые другие... Вот только дни. Они стали похожие, словно дольки разрезанного яблока.

Я нажал кнопку звонка. Дверь чуточку приоткрылась.

— Это ты? — спросила Алла, не выглядывая.

- Так точно.
- Не входи сразу...
- Есть! — гаркнул я.

Слышал, как открылась входная дверь. И когда вошел в прихожую, никого не увидел.

— Салют! — устало сказал я. Это, конечно, было пижонство, но мы в классе приветствовали так друг друга. И мне казались совершенно необходимыми какая-то деталь, какое-то слово, которые напомнили бы нам прежние наши годы и сейчас, в этот вечер, помогли бы создать настроение если не полной искренности, то хотя бы дружеского понимания.

— Я блондиню голову, — ответила она из ванной. — Располагайся.

Все в комнате было иначе. Старую мебель куда-то выбросили. И теперь в правом углу стояла низкая тахта. Такой же приемник. На приемнике плоский портсигар. Модное кресло. И шкаф. Книжный шкаф, в котором не было книг. В верхнем углу на стекле краской, гостовским шрифтом написано: «ШКАФ-МУЗЕЙ АЛЛЫ ПЕТРОВОЙ». На полках лежали экспонаты. Соска, возле нее листок бумажки: «Алла начиналась так...» Тетрадка в косую ленточку, на которой видны неумелые фиолетовые палочки и красная цифра два. Пояснительный текст: «Первая двойка». А вот особо ценный экспонат. Он лежит под стеклом. Записка, которую я бросил Алке на уроке. «Ты мне нравишься больше всех на свете. Давай с тобой дружить. Максим». Тут же ее ответ: «С мальчишкой? Мне будет стыдно». На нижней полке — латаные валенки и серый старушечий платок. Пояснительный текст: «Кустанайские друзья».

Что-то показное и немножко фальшивое было

в этом шкафе-музее. И я боялся, что и Алла стала такой же.

Она вошла. Стрижка, как у большинства девочек, под мальчика. Волосы светлые, а раньше были черные, словно у цыганки. Я не узнавал ее, как и комнату, в которой она жила. Худшие мои опасения оправдывались.

Все было уже отрепетировано. Она остановилась. Сощурила глаза, у нее всегда была эта привычка, протянула руки:

— Ты стал совсем взрослым.

— Я с радостью вернулся бы в пятый класс...

— Это даже не фантазия, — сказала она. — Только прыгуны имеют право на три попытки. Для остальных — другие правила.

Она подвинула кресло. Взяла с приемника плоский портсигар. И, вероятно, хотела присесть. Но, взглянув на будильник, быстро повернулась ко мне и спросила:

— Ты умеешь чистить картошку?

Я считал, что ругаться еще рано, поэтому мирно сказал:

— Случалось. Отрабатывал наряды на камбузе.

— Я обещала маме приготовить ужин. Ты любишь картошку с селедкой? У меня есть черноморская селедка и «Мастика». Я привезла ее из Софии.

«Мастика» — это хорошо. Но пусть не думает, что я очень покладистый.

— Только брось сигарету. Вы, московские девочки, все походили с ума.

Мы пришли на кухню. Алла надела передник. Я не удержался — это вырвалось помимо воли:

— Ты и здесь, как с картинки... Не могу представить тебя в латаных валенках и платке...

Она перестала улыбаться.

— Меня ругали по всесоюзному радио... Я поехала на целину и убежала... Первый год там было трудно, но интересно. Палатки, мерзлый, как камень, хлеб... И песни и гордость... Первый год... А потом? Жизнь стала налаживаться. Я поняла — там будет как везде. Умные девчата выходили замуж за трактористов и рожали детей. Яслей не было. Девчата сидели дома, не собирали ни грамма хлеба и считались патриотками. А я вернулась в Москву...

— Чтобы выйти замуж в столице. — Я сделал первый выпад.

— Жены нужны и тут... — сказала она, выбирая картошку. — Я жила с ним четыре месяца. На большее не хватило. Он ревновал меня ко всем. Даже вот к этому музею. Он кричал, что стюардессы — это вообще... Говорил всякие гадости...

Я знал, что из нее никогда не получилась бы актриса, она быстро увлекалась, и забывала свою роль, и становилась нормальным человеком. И даже очень хорошим.

Но стоило ей замолчать и немного подумать, как она вновь начинала пижониться. И это я замечал уже, когда мы учились в школе.

— Знаешь что, — сказал я. — Большое упущение со стороны государства, что девчонок в обязательном порядке не призывают в армию. Конечно, на флот вашего брата, вернее, сестру пускать не нужно. Но для пехоты вы вполне созрели. И чтобы на пузе поползать, на посту помокнуть, окопы порыть. Хотя бы годик. И старшиниху бы вам такой закваски, как наш боцман Шипка... Сколько бы в стране сокровищ появилось.

— Такое ценное предложение нужно зафиксировать на бумаге. И послать в Верховный Совет.

— Вот вымоем руки... Надеюсь, бумага в доме найдется.

— Сколько угодно... Ты по-прежнему пишешь стихи?

— Нет.

— А я думала, ты станешь поэтом.

— У меня другие планы.

— Какие?

Она произносила короткие фразы. И они не мешали ей помнить, что она играет. Я бы мог ей рассказать, что серьезно решил поступать в медицинский. Но это вызвало бы у нее улыбку, и она продолжала бы притворяться.

Я спрятался за усмешку, точно за броню. Развел руками, и картофельная кожура упала на пол.

— Приглашал меня один сослуживец в Гагры... На водной станции спасателем работать... Чего смеешься? По большому знакомству устраивают... Полный комфорт: лодка, плавки, шляпа из белой козлиной шерсти. Скажешь — не жизнь?

— Сезон кончается.

— Реалистка ты. Я это еще в школе заметил. Ты со мной и дружить стала потому, что я тебе примеры решал.

— Я допускала это из симпатии к вашей милости...

Очистки падают на пол.

— Извини... — Я присел на корточки и стал собирать картофельную кожуру.

— Встань, — сказала она. — Все равно буду подметать кухню.

— У тебя красивые ноги, — сказал я.

— Знаю... Лучше займи вертикальное положение. Серьезно, что ты думаешь делать? — спросила она.

— Жениться на тебе...

— Ого, — на лице ее выступил румянец. — А если я не захочу, — шутливо сказала она, но я понял, что это не простое кокетство.

— У тебя кто-то есть.

— Допустим... А что? Я не имею права...

— Право все имеют.

Было ясно, что скандал не состоится. Она восприняла бы его как проявление ревности. И я почувствовал нервозность, точно спортсмен, проигрывающий матч. Проявил слабость и поплатился.

Когда вспыхнул газ и Алла поставила на конфорку кастрюлю с картошкой, я сказал:

— Мне чего-то не хочется «Мастики», и селедки тоже... Тем более что нам в течение четырех лет давали ее на ужин.

Ничья! Она даже не проводила меня до дверей.

Но едва я вышел из подъезда, как она раскрыла окно и крикнула со своего второго этажа:

— Максим! Максим, ты сумасшедший... Я не думала обидеть тебя, полагая, что с тобой можно говорить как со взрослым...

— Все мы немножко дети... Только поэтому человечество еще способно улыбаться.

Вот так, боцман Шипка. Видимо, голова у меня — не компас.

Сколько же сейчас времени? Около четырех. Рассвет еще часа через три... Что это за площадь? Рижский вокзал. Но почему здесь самолет? Он движется через площадь к Крестовскому мосту. Подсвеченный редкими уличными фонарями, напомина-

ет гигантскую рыбу. Где ее выловили? В каком море? Сходство с рыбой усиливает отсутствие крыльев. Самолет — целый, непомятый... Но крылья почему-то везут две другие машины. А первая, натужно ревя, тащит корпус...

Я подумал, что самолет упал прямо в городе. А может, не упал, а приземлился. И люди остались живы. Только крылья обломались. Но это не страшно. Крылья сделают новые.

— На выставку везут, — сказал постовой милиционер и зябко повел плечами. — На ВДНХ.

Выходит, что этот самолет никогда не поднимется в небо. Он будет стоять возле фонтана. Представлять своих крылатых собратьев. Год, два, три, четыре... А потом его спишут на металлолом.

Когда я вернулся домой, Еремей и Елена Николаевна уже не спали. Еремей разминался с гантелями. А Елена Николаевна жарила на кухне сырники.

У Еремея вытянулось лицо. А Елена Николаевна засмеялась:

— Мы думаем, что он спит. Ходим на цыпочках. И даже радио не включаем...

— Виноват, — сказал я. — Прибыл из самовольной отлучки.

Глава вторая

ПРОБЛЕМА НОМЕР ОДИН

— Вы не заблуждайтесь и не настраивайте себя на то, что в жизни вас будет оберегать штиль и сопровождать попутный ветер. Море еще потреплет вас, и ветры будут разные, в том числе и встречные, — боцман Шипка прятал за спину свои боль-

шие, просоленные руки. И продолжал: — Каждый день, каждый час у всякого нормального человека есть проблема номер один. И когда он решит мучившую его проблему, первой становится другая, та, что была проблемой номер два. Так бесконечно... Это я говорю вам к тому, что настоящий моряк не должен дружить с покоем и, словно тюлень, обраться жиром.

А Стас оброс... Он, конечно, никогда не был моряком, потому что из-за плоскостопия не служил ни в армии, ни на флоте. Но он был моим другом. Самым близким, самым лучшим. И я привез ему в подарок тельняшку. И повторил слова боцмана Шипки, под которыми готов был подписаться:

— Не могу равнодушно относиться к человеку, если увижу на нем тельняшку.

— Спасибо, Максим, — сказал Стас. — Я буду хранить ее, как реликвию.

— Нет. Не надо хранить. Ты носи ее. Она теплая.

Он никогда не отличался душевной пронизательностью. Но мы были друзья. И я прощал ему это. Он сказал:

— Ну что ты, старик! Кто же сейчас носит тельняшки, когда в продаже столько шерстяных вещей.

Мне сделалось чуточку обидно за Стаса. Но я не стал с ним спорить. А он вынул из письменного стола авторучку, на которой была изображена женщина в купальнике. Поднял ее пером вверх. И купальник пополз вниз, обнажая загорелые плечи женщины.

Я обалдел от удивления. Потому, что на корабле не видел ничего подобного. И Стас остался доволен произведенным эффектом. Сказал:

— Бери, Макс. Это твоя!

Он всегда любил делать подарки. Еще в школе... Однажды он подарил мне настоящую футбольную форму. И майку, и трусы, и бутсы. Он тоже играл в футбол. Но стоял в воротах, потому что не мог из-за своего плоскостопия долго бегать. И у него был хороший черный свитер, и перчатки, и наколенники, как у рыцаря. А у меня ничего не было. Мы жили тогда бедно. Еремей еще учился в институте. Мать преподавала в начальных классах, у нее была совсем маленькая зарплата, и пособие, которое я получал за погибшего отца, было тоже невелико. Футбольная форма являлась пределом моих мечтаний. Она даже снилась мне по нескольку раз в месяц. И Стас принес динамовскую форму. И сказал:

— Таскай, старик!

Я спросил:

— Где ты взял?

— Достал, — многозначительно ответил Стас. Это было его любимое словечко. И я, конечно, не придал ему значения.

Я играл в этой форме месяца полтора за нашу школьную команду. И стирал ее сам и гладил.

А потом Стас пришел озабоченный. И спросил:

— Где форма?

Увидев ее чистой и выглаженной, он бросил и футболку и трусы на пол, стал топтать их ногами. От одной бутсы отодрал подошву плоскогубцами. Я подумал, что он свихнулся с ума. Или, может, какие-нибудь идиоты оговорили меня в его глазах. Но я не угадал. Причина была совсем другая. Стас получил разрешение в спортобществе (какими путями, не знаю) взять списанную футбольную форму.

А взял почти новую. Об этом как-то узнали. Потребовали, чтобы Стас предъявил форму. Тогда он сделал с ней такое, что на складе ее оценили, как утиль. И он принес мне и футболку, и трусы, и ботсы обратно. Но я сказал:

— Не нужно.

— Да брось ты, — убеждал Стас. — Какая разница?

Но разница была. Хотя я тогда и не смог ее объяснить Стасу.

Многие учителя, и девчонки, и мальчишки считали Стаса хитрым, пройдоцистым парнем. И удивлялись, как я с ним дружу.

Но он мне нравился. А еще больше нравилась мне его родная сестра Алла. Стас был старше Аллы на один год. Но они почему-то пошли вместе в школу. И все мы учились в одном классе.

Четыре года, которые я провел на флоте, многое изменили. Видимо, этот период, с восемнадцати до двадцати двух лет, надо рассматривать как период становления взрослого человека. Видимо, в сорок лет можно, расставшись с другом, вернуться через четыре года и увидеть, что ничего не изменилось, ну, может быть, морщин чуточку прибавилось. А в восемнадцать лет так не бывает...

Теперь Стас работал директором большого мебельного магазина. У него была однокомнатная кооперативная квартира и автомобиль «Волга». И квартиру и машину, как говорил Стас, ему купил отец, который уже давно не жил с их матерью и трудился где-то на Севере, в системе Дальстроя.

Я не заметил, чтобы Стас сильно изменился внешне. Правда, стрижка теперь у него была «ежиком», тогда как раньше он носил длинные, как

у монаха, волосы, зачесанные назад. Когда ему случалось нагнуться, волосы спадали, закрывали и рот, и нос, и все лицо до самого подбородка.

Но вот манера держаться у него стала другая. Если раньше при всех своих недостатках (у кого их нет?) Стас все-таки был рубаха-парень, то сейчас как-никак со мной разговаривал начальник. Друг, но чей-то начальник.

— Мне думается, — говорил Стас, — свою гражданскую деятельность тебе следует начинать в приемной райжилотдела. Получение квартиры или там комнаты дело хлопотливое и времязатратное. Куй железо, пока горячо...

С квартирой получилось вот что. Когда я уходил служить, мать оставалась жить в старом доме на Маломосковской. Два года спустя она умерла. Заколоченная комната все это время числилась за мной. Но девять месяцев назад старый дом сломали. Всех жильцов переселили в новые квартиры. Теперь, демобилизовавшись, я имел право на получение жилой площади.

— И не вздумай объяснять, что ты живешь у брата. Никакого брата у тебя нет. И ночуешь ты, демобилизованный старшина второй статьи Максим Ткач, на железнодорожном вокзале...

Я робко возразил. Вернее, усомнился в необходимости подобного спектакля.

— Здесь тебе не корабль. Здесь я получше твоего лоцмана Шипки разбираюсь...

— Боцмана.

— Лоцмана, боцмана — это уже детали.

На другой день состоялся такой разговор:

— Ты был у Аллы... Она мне говорила. Честно, я никогда не верил в то, что у вас что-нибудь полу-

чится. Ты слабый человек. И она слабый. Не верю, что двое слабых могут составить силу. Я искренен, как на исповеди. Она моя любимая сестра. Но самое святое для меня — объективность. И я скажу тебе... Алла красивая особа. Но на таких не женятся. Не делай большие глаза. Хоть ты и старшина, но наивный мальчик. Да, есть такая категория красивых и в общем-то порядочных девушек, на которых не женятся. А если женятся, то бросают... Тут уж ничего не поделаешь. Ее величество природа! Выпьем за природу!

Потом еще разговор:

— У тебя же есть гражданская одежда... Мне казалось, что твое прощание с робой будет менее трогательным.

— Она еще пахнет морем.

— За четыре года оно могло бы осточертеть.

— Ты видел его с берега. А я с палубы.

— Да, Макс, зря ты бросил писать стихи.

— Она тебе и об этом сказала?

— Очень трудно все таить в себе.

— Почему они разошлись? Он был старше ее?

— На восемь лет. В пределах нормы. Ему не нравилось, что она летает стюардессой.

— Были основания?

— Их всегда можно придумать. Она вылила на него тарелку с супом.

— Да... В семье все должно быть иначе.

— Ты видел семью с берега. А она с палубы.

...И еще разговор:

— У меня в магазине не хватает грузчиков, Максим. Приходи завтра к девяти, если хочешь подхалтурить на карманные расходы.

— Подхалтурить? Как это расшифровать?

— Слушай и запоминай. Заработок до ста рублей — халтура. До трехсот — работа. Выше — творчество. А я, Макс, в душе художник. Хоть и в творческом союзе не состою...

Через неделю я пришел к выводу, что, видимо, не квартира, не учеба, не работа, а взаимоотношения с другом станут для меня в ближайшее время «проблемой номер один».

Я понял на флоте, что такое дружба. И мне не хотелось терять Стаса.

Глава третья

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНДРЕЯ ЧИВИКОВА

Об Андрее Чивикове я рассказываю подробно только потому, что совершенно неожиданно и для Стаса и тем более для меня он сыграет роль в разрешении моей «проблемы номер один». Ничего не придумав и не приукрасив, я излагаю события так, как мне поведал их сам Андрей.

В июле месяце он приехал в Москву из Армавира с мечтой стать атомным физиком. Папа его — важный человек, постоянно занятый на службе. Мама вообще никогда не работала. И сам Андрюшка дома не заколотил гвоздя в доску.

Он приехал в Москву. Завалился на математике, в которой, по словам мамы, «был так силен». Домой возвращаться постеснялся. Зашпилил аттестат зрелости булавкой, сдал чемодан в камеру хранения и решил начать самостоятельную жизнь. Настоящую.

Нужно идти работать. Токарем, слесарем, чернорабочим. Будущему атомному физики это тоже

не вредно. Мосгорсправка пестрела объявлениями о найме рабочей силы. Однако без московской прописки не брали даже учеником. Деньги кончились. Из общежития двоечников выселяли тотчас же, как только поступали сведения из приемной комиссии. Ночевать пришлось на вокзале.

В тот день Андрей с утра патрулировал около МГУ в надежде перехватить небольшую сумму у своих вчерашних знакомых абитуриентов, которым посчастливилось получить студенческие билеты. Нужно было совсем немного денег. Выкупить чемодан из камеры хранения. Содержимое одного Андрей решил снести в скупочный магазин. Но не зря говорят, что если не везет, то во всем сразу. Ребята на радостях поиздержались и сами сидели на мели. Сомневаться в искренности их слов было бессмысленно.

Андрей пришел на Курский вокзал. Может, кому потребуется поднести вещи. Но вид у Андрея был столь подозрительный, что даже самые немощные пассажиры предпочитали потеть под тяжестью чемоданов, нежели воспользоваться его услугами.

Андрей улыбнулся девушке. Она стояла под расписанием поездов дальнего следования. Девушка заметила его улыбку, усмехнулась краешком губ и повернула голову.

Андрей побродил еще немного между узлами и чемоданами, но, чувствуя на себе настороженные взгляды, подошел к ближайшему милиционеру. И сказал:

— Товарищ старшина, у меня нет ни копейки денег... Я второй день ничего не ел... Посоветуйте, что мне делать?

Сам удивился, как он мог сказать такое без тени смущения. Это все равно, что побираться. А может, нет...

Озадаченный старшина рассматривал Андрея с ног до головы и, чтобы собраться с мыслями, потребовал документы.

Андрей достал паспорт.

Теперь все стало на свои места. Старшина действовал по инструкции:

— Фамилия?

— Чивиков Андрей Петрович.

— Правильно. Год рождения — 1945... Где проживаешь?

— Армавир.

— Правильно. Почему не едешь домой?

— Денег нет... Поступал в университет...

Милиционер вздохнул:

— Значит, денег нет?

— Нет, — ответил Андрей.

— Деньги, брат, зарабатывать надо...

Мимо прошла девушка. Та, что стояла у расписания поездов дальнего следования. Девушка опять посмотрела на Андрея.

— Ладно, — протянул старшина. — Пойдем к нам в дежурку, начальству доложим... Выход из любого положения сыскать можно.

Они пришли в дежурку. В накуренной комнате сидел милиционер в чине младшего сержанта. Не имело смысла подозревать в нем начальство.

— Где лей? — спросил старшина.

— Куда-то вышел, — ответил младший сержант и, кивая на Андрея, равнодушно спросил: — Карманник?

— Да нет, — покачал головой старшина. —

Студент... Или как там... Словом, поступал. Не приняли. Остался без копейки.

— А, — понимающе протянул младший сержант. — Издалека?

— Из Армавира, — ответил старшина.

Андрей смотрел на старый стол, ничем не покрытый, облупленный и покорябанный. От табачного дыма почувствовал тошноту.

— Кто ж без гроша в такую даль едет? — спросил младший сержант.

Старшина пожал плечами и сказал Андрею:

— Посиди тут. Мне идти надо. Лейтенант вернется, он доложит.

Старшина кивнул на младшего сержанта.

— На студента, значит, — не то спросил, не то подумал вслух младший сержант. — Книжечки изучать...

Младший сержант внезапно икнул и, словно раздраженный этим, запальчиво продолжал:

— Ты станешь студентом, я стану студентом, старшина Мурзилкин, что тебя привел, тоже станет студентом... А материальные ценности кто будет производить? Ты об этом подумал?

— Нет, — сознался Андрей.

— У меня брат. На тебя похож... Тоже очки носит... Кричит: одиннадцатилетку кончать буду! Зачем? Придумали одиннадцать годов протирать штаны на парте. Говорят, отменят это скоро.

— Вы десятилетку кончали?

— Пять классов.

— Маловато, — стеснительно заметил Андрей.

— Нисколько... Природный ум заполняет пробелы образования.

Телефонный звонок прервал младшего сержанта. Он поднял трубку.

— Да. Так точно... Иду.

Он поднялся.

— Слушай, обожди в зале, — сказал он Андрею. — Мне нужно запереть помещение.

В зале ожидания было шумно, как на армавирском базаре. Андрей вышел на улицу. Прямо перед ним оказалась та самая девушка, которую он видел у расписания поездов дальнего следования.

— Отпустили? — спросила она спокойно, как старая знакомая.

— Запросто, — ответил он. А что говорить дальше, не знал, поэтому спросил:

— Как вас зовут?

— Алла.

— А я Андрей.

— Ну и что? — усмехнулась девушка.

Андрей пожал плечами. Он повернулся и пошел прочь. Но она спросила:

— Вам не дали денег?

— С чего вы взяли? — смутился Андрей. — Почему мне должны давать деньги, да еще в милиции?

— Вы спросили. Я слышала.

— Нет... Это совсем не так... — смутился Андрей. — Я хочу заработать денег... Вот, своими руками.

— Что вы умеете?

— Ничего.

— А поднимать тяжести вы умеете?

— Думаю, что сумею...

Алла опять усмехнулась. Она прошла мимо Андрея, коротко бросив:

— Пойдем.

В девушке было столько же власти, сколько и в маме. А маму он привык слушаться. Они прошли квартал молча. Потом он на всякий случай спросил:

— Куда мы идем?

— В кафе.

— У меня нет денег, — остановился Андрей.

— Я знаю, — равнодушно ответила Алла.

Она привела его в молочное кафе. Там за порцией сосисок и кефира Андрей рассказал ей свою одиссею.

— Поедем к моему брату, — сказала Алла. — Он поможет вам с работой.

— А кто ваш брат? — спросил Андрей, подозрительно косясь на Аллу. Теперь он был сыт, и к нему вернулось благоразумие. Вспомнились армавирские рассказы о коварных женщинах, расставляющих сети легкомысленным провинциалам.

— Мой брат — разбойник с большой дороги, — обиделась Алла. — Он грабит в Подрезково и на Сходне. А из таких щенков, как вы, варит колесную мазь.

Одарив Андрея презрительным взглядом, она поднялась, громко двинула стул и вышла из кафе.

Он обомлел. Это было страшнее, чем на экзаменах. Алла заказала на два рубля. А кто будет расплачиваться? Аферистка. Пообедала и смылась.

Давясь, Андрей проглотил сырники. Белый передник официантки замаячил над столиком. Она собрала тарелки, вырвала из записной книжки листок со счетом и, положив его перед Андреем, сказала:

— Рубль девяносто шесть...

— Принесите еще бутылку кефира и пирожок.

Андрей не узнал своего голоса — он был хриплым и сдавленным. Официантке было все равно. Она молча приняла заказ и ушла. Андрей вынул из кармана авторучку. Написал на обратной стороне листка:

«Деньги я верну. А пока возьмите авторучку. Она стоит больше».

Он просунул бумажку под защелку авторучки. Положил. И хотел подняться. Как вдруг услышал за спиной шаги. Официантка. Андрей ощутил тошнотавый приступ испуга и, словно страус, прячущий голову под крыло, накрыл авторучку ладонью. Заскрипел сдвинутый с места стул. Андрей повернулся. За стул держалась Алла. Она села. Весь гнев на нее прошел. Андрей почувствовал великое облегчение.

— Вы обиделись?

— Я не обиделась, — сказала Алла. — Я вспомнила, что мне нужно позвонить по телефону.

Когда вышли из кафе, солнца уже не было. Накапывал дождик.

— Слушайте, — предупредила Алла. — Только вы не подумайте, что я от вас без ума.

— А я и не думаю. Мне сейчас не до этого... — простодушно ответил Андрей.

Они сели в троллейбус и поехали к Стасу.

Все это рассказал мне Андрей Чивиков в кузове машины, когда мы везли гарнитур «жилая комната» в Медведково. Нас подрядил суетливый мужчина за пятьдесят рублей, с тем чтобы мы не только подняли мебель на пятый этаж, но и собрали ее.

Чивиков рассказал и еще что-то о Стасе. Но мне не хотелось бы писать об этом сейчас, когда я сам не во всем разобрался...

Признаюсь, что с того дня я всячески избегал встреч со своим другом. Благо предлогов для этого было достаточно: квартирные хлопоты, устройство на работу...

Глава четвертая

ПЕРВЫЕ ШАГИ

На корабле, особенно в канун демобилизации, я часто размышлял о своей будущей гражданской жизни. И очень многое в моих размышлениях носило расплывчатый, а порою просто зыбкий характер. Смерть матери застала меня в походе. Когда мы вернулись в порт, телеграмма из Москвы уже седьмые сутки лежала в штабе, и было ясно, что хлопотать об отпуске нет смысла. Письма от Еремея приходили сумбурные. И Елена Николаевна и он, видимо, здорово намучились, потому что последние три месяца мать вообще не поднималась с постели. А им никак не удавалось найти постоянную сиделку. И они дежурили возле матери по очереди. Спасибо, что рабочий день у Елены Николаевны — она преподавала в Институте кинематографии историю кино — был не нормирован. Но трудностей хватало.

Еремей в своих письмах никогда не заглядывал в будущее. А без всякой системы описывал, чем они с женой живы. Он работал главным инженером в строительном управлении и с русской словесностью был не в ладах.

Однако со дня моего возвращения прошло все-

го три недели, а я уже был обладателем десятиметровой комнаты в новой двухкомнатной квартире на третьем этаже. Соседкой моей была женщина-пенсионерка, благородного вида, с седыми пышными волосами. Она целыми днями читала книги, а завтракать, обедать, ужинать ходила в столовую. Я тоже редко пользовался кухней, поэтому воздух в квартире был свежий и хорошо пахло краской.

Пригодилась и флотская специальность. Еремей устроил меня электриком на стройку. Это было в пятнадцать минут ходьбы от моего дома.

Район новый. И строят много. Сложенные один на другой поддоны с кирпичом — внушительное зрелище. Белой, неровной стенкой они поднимаются над дорогой, топорщатся выступами, виляют и обрываются припыленные землей, словно раскопки древнего города. Рядом котлован, который готовят для дома. За ним, совсем близко, стоит дом, построенный наполовину. Пока там еще три этажа. Но он будет девятиэтажным. Таким как следующие — на него уже возводят крышу.

Несколько дней назад мы шли здесь с Еремеем. Увидев дома, я заметил:

— Точно матрешки. Меньше, больше... Совсем больше! Детский сад.

— Ясельки. Только поработал бы ты в них главным инженером, — вздохнул Еремей.

И остановился у березы. Парень в рабочем комбинезоне возводил вокруг дерева кирпичную кладку. Теперь береза будет словно в большом горшке. Еремей удовлетворенно крикнул. Это была идея его, Еремея, сохранить березу. И огородить ее от самосвалов.

— Разве трудно? — спросил я.

Он не ответил.

Видимо, я по неопытности многое упрощаю. А Еремей, он не болтун и не нытик. Он знает свое дело твердо. Хотя, конечно, забот у него — полон рот.

Он сказал мне так:

— Этот год у тебя вылетел. До лета поработай, а там за учебу. Ты же мечтаешь о медицинском?

— Да. Но там нет заочного факультета.

— Будешь учиться очно.

Я протестующе покачал головой.

— Не ерунди. Представь, что ты на корабле. И что перед тобой боцман Шипка.

— Это не всегда получается.

— Вот как? — удивился Еремей.

— К сожалению, так.

— Значит, ты не случайно избегаешь Стаса?

— Да. На это есть причины.

— Выходит, боцман не всесилен?

— Это сложнее. Боцман мудр, но Стас не в его власти.

— А в боцманском катехизисе нет истины на этот случай?

— Может, и есть. Может, я не все знаю. Но все равно одно дело — знать истину, а другое — уметь применить ее на практике. Иногда для этого бывает мало просто желания.

— Согласен. Помочь?

— Я хочу разобраться сам.

— Тоже неплохо... Так вот, вернемся к нашим баранам... Чтобы не давать тебе повода для пижонства, я скажу вот что. Я поклялся умирающей матери, что дам тебе возможность получить высшее образование. Поэтому дальнейшие дебаты исклю-

чены. Сумма, которая получилась в результате реализации оставшихся вещей и мебели, невелика. Но ее хватит для того, чтобы купить тебе диван-кровать, стол и пару стульев... Остальное приложится, братишка.

— Это, конечно, все благородно... Но мне неловко. И перед тобой и перед Еленой Николаевной. Сам понимаешь...

— Понимаю. Я не зря служил на флоте... Когда четвертого февраля сорок третьего года мы по горло в ледяной воде бежали к берегу возле поселка Южная Озерейка, я уже знал, что отца нет в живых и что если меня здесь прихлопнут, то мать останется с тобой — трехлетним пацаном. И я молился ночи и берегу, чтобы меня миновала пуля. У меня есть братишка. И я ему нужен.

— Тебя там и ранило.

— Нет. К счастью, нет. Наш десант не удался. Немцы ждали. Их разведка сработала чисто. Они припасли шестиствольные «ванюши» и артиллерию... Нам пришлось пробиваться в район Станички. У горы Мысхако меня и ранило...

Я не к месту вспомнил:

— Портвейн есть такой — «Мысхако».

— Тогда не было. А может, и был, но просто мне не попадался.

Дни шли...

Мне нужно было стать на комсомольский учет, но оказалось, что в управлении секретарь комитета — неосвобожденный. И я дважды не мог застать его на месте, а на третий раз решил отправиться к нему в общежитие строителей.

Я спросил у вахтера, где живет Евгений Прохоров. И она ответила:

— Женька? На втором этаже, в двадцать восьмой комнате.

Когда я распахнул дверь в двадцать восьмую комнату, то сразу понял, что вахтерша ошиблась. На постели, застланной ворсистым одеялом, зеленым с белыми разводами, сидел парень — бритый наголо. Он восседал, как султан, сложив ноги по-турецки. На его осоловелом — так и казалось, что он немножко выпил, — лице блуждала ироническая улыбка.

Я остановился на пороге. И на всякий случай, хотя был уверен, что зря, спросил:

— Прохоров здесь живет?

— Да.

— А он когда будет дома?

— В настоящий момент, — сказал вдруг бритый нормальным человеческим голосом. — Да нет... Я не пьян. Это у меня лицо такое. На работу устраивался. В трех отделах кадров сказали — пьяный. А кроме пива, я ничего не пью. И то, когда жарко...

Последние слова он произнес почти грустно. Потом он сказал, что его зовут Женькой. И мы познакомились.

— Ребята на стройке — золотые, — говорит Женька. — Только каждый сам по себе. Как буквы в азбуке... Сложить бы их так, чтобы книга получилась. Вот бы попробовать, Максим!

— Пробовать нужно. Только сложно все это. У каждой буквы — свое значение... Тебе сколько лет?

— Восемнадцать.

— Весной или осенью в армию. А я в институт поступить хочу. На врача учиться...

Женьке, кажется, не понравилось. Отвернулся он. Потом сказал:

— Тоже дело нужное.

— Понимаешь... Только болтунам все видится простым и ясным. Даже боцман Шипка, у которого все было расписано, как в уставе, и тот признавался, что жизнь прожить — не море переплыть...

С полчаса говорили о разном...

— Ладно, — протянул на прощанье руку Женька, — работай, трудись...

Дня через два я вспомнил наш разговор про буквы и про книгу. Черт знает куда такую «букву» поставить, как наш электрик Василий Чижов.

Я делал проводку в квартире на пятом этаже. Прибежала отделочница в комбинезоне. Невысокая девушка. Бригадирша. Видел ее несколько раз. Знаю, зовут Ксения.

Спрашивает:

— Бригадир ваш где?

— К главному врачу поехал.

— А за него кто? — допытывается.

— Допустим, я...

— «Допустим» не считается. Значит, вы. Тогда призовите к порядку Василия Чижова.

— Матерится?

— Книгу читает. — Ксения шмыгнула носом. И уже более спокойно продолжала: — Я, конечно, сбивчиво говорю... Не из-за книги я сюда прибежала, хотя читать в рабочее время — тоже дурное дело. Но забота не об этом. Халтурит ваш Василий.

Много раз за ним замечала. Он нарочно ставит выключатели так, чтобы они не выключали, а патроны — чтобы лампочки не горели. Пошли посмотрим...

Действительно, в квартире, куда привела меня Ксения, выключатели были поставлены странным образом и в патронах не контактило.

— С ума парень сошел, — удивился я.

— Наоборот, — сказала Ксения. — Он очень хитроумный. Жильцы въедут и к нему в ножки кланяться пойдут. А он с них по трешке стричь будет. Здесь таких парикмахеров немного, но попадаются...

В комнате второго этажа я нашел Василия. Он сидел на широком подоконнике и читал книгу. На обложке было написано:

Эрих Мария Ремарк

Три товарища

Увидев меня, Василий закрыл книгу. И сказал:

— Здорово баба пишет!

— Ремарк — мужчина, а не женщина.

— Не свисти. Чего же Марией зовут?

— За границей так принято. А к тебе разговор... Ступай в сорок шестую квартиру. Переделай все выключатели, поправь патроны. Потом вспомни, в каких квартирах ты еще нашкодил. И там все исправь. А вечером бригадой будем с тобой разговаривать.

— Все исправлю, — деловито согласился Василий. — Все. И в сорок шестой, и в семьдесят девятой, и в тридцать первой... Только не нужно со мной бригадой разговаривать. Ты один поговори, Максим. Я тебе слово дам. Ты же флотский парень!

ЭКСПРОМТ — ШТУКА ХОРОШАЯ!

Время клонилось к вечеру, когда дождь загнал меня в подворотню. Я поднял воротник пальто, уныло опустил голову. Вдруг впрхнули три девчонки. Лет по пятнадцати. И сразу посветлело. Девчонки в нейлоновых плащах. Размахивают школьными сумками. Смеются и что-то лопочут по-своему. Ни черта не разберешь.

А у меня лицо каменное. И я смотрю на мокрый тротуар, точно старый боцман на палубу, словно ищущий, к чему придраться.

Девчонка в розовом плаще выглядывает из подворотни, потом резко поворачивается к подругам и, радостно зажмурив глаза, сообщает:

— Бежит!

Через секунду вбегает подросток в школьной форме. Ручка портфеля оторвана, он сжимает его под мышкой. Задиристо рассматривает девчонок. Девчонки переглядываются, улыбаются. И та, что в розовом плаще, говорит:

— Мы знаем... Это ты писал записку!

Подросток краснеет. Достает из фуражки сигарету. Сует ее в рот. Сигарета придает ему известную долю независимости. С видом взрослого он цедит сквозь зубы:

— Я не могу писать... У меня от волейбола пальцы не сгибаются.

Продемонстрировав перед девчонками нестриженные ногти, он достает из кармана спички, закуривает. Говорит:

— И вообще любовь — гипотеза! Как и жизнь на Марсе.

— Дурак ты, Филя, — с сожалением сказала девчонка в розовом.

Ее подруга в голубом внезапно взмахнула сумкой и выбила у Филя портфель.

— За любовь! — крикнула девчонка в желтом плаще и опустила свою сумку на голову Филя.

Отчаянно хохоча, девчонки убежали.

Филя поднял портфель, оттер грязь... Удрученно посмотрел на меня. Кажется, мое присутствие мешало ему заплакать.

Раздавленная сигарета лежала на земле. А в пачке больше не было. Филя спросил:

— Нет закурить?

— В твоём возрасте это вредно. Уши могут опухнуть.

Мальчишка посмотрел недоверчиво:

— Разыгрываешь?

— Разыгрываю... Какая из них твоя?

— Как моя?

— За кем стреляешь?

— А... Юлька. Та, что в розовом.

— Она знает?

— Догадывается...

— Нужно объяснить!

— Советы давать легко, — устало сказал Филя.

— Ты мужчина. Брюки носишь...

— Сейчас все брюки носят...

Дождь лил. На улице еще не совсем стемнело. Но уже во многих окнах горел свет.

— Где ближайший телефон?

— Направо... А потом свернешь.

Я нашел телефонную будку. Но она была занята. В будке стоял солидный мужчина. Он говорил что-то быстро. Я решил обождать. А дождь

торопился, мочил мои волосы и уши. Наконец я постучал в стекло. Дескать, пора бы знать и совесть. Мужчина приоткрыл дверь, сунул мне зонтик. И с чистым сердцем закрыл за собой дверь. Крыша — великое дело. Даже если это только зонт. Капли стучали строже, настойчивее.

Мужчина вышел из будки, одарил меня благодарственной улыбкой, сказал:

— Бывает.

Взял зонт. И ушел. Я набрал номер, не закрывая двери. С дождем не так одиноко. Трубку сняла не она:

— Да.

— Можно Аллу?

— Ее нет. Алла в рейсе...

Все равно, я не знал, что сказать ей. Еще, чего доброго, стал бы от волнения заикаться в трубку. Или нести галиматью, пыжась доказать, какой я умный и волевой человек. Конечно, такие вещи смешно доказывать словами. Но многие пижоны доказывают. И что уж самое странное — находятся люди, которых красноречивая трескотня ослепляет, словно встречная машина.

— Болтуны потому до сих пор встречаются, что всегда есть кому слушать их, — это опять боцман Шипка.

А возможно, и нет. Возможно, я где-нибудь в другом месте и в другое время эти слова слышал. Но теперь так получается, что все правильное, все житейское я приписываю боцману Шипке. Почему? Боцман — исключительная фигура? Эрудит? Морской профессор? Да нет. Моряк как моряк. Человек как человек. Только за четыре года я понял, что боцман Шипка справедлив, что главное в жизни

боцмана — это мы, матросы, и что лично для себя он ничего не хочет: ни адмиральского звания, ни регалий, ни путевки в санаторий. Отсюда и вера моя в него.

А в Стаса веры нет, хотя Стас и не заставлял меня галльон драить, и не посылал на камбуз бачки мыть, и друзьями закадычными мы десять лет считались.

Еремей говорил, что Стас звонил, удивлялся, куда это я исчез... Но мне еще рано встречаться со Стасом. С ним нужно говорить серьезно и откровенно, как мужчина с женщиной, а не лепетать и не оправдываться, точно самовольщик в комендатуре.

Ладно, подумаем...

Но вот куда вечер девать? Жаль, Еремей с Еленой Николаевной в Болшево укатили. Однажды и я ездил с ними туда, в Дом творчества кинематографистов на просмотр итальянской картины. Запомнилась мне эта поездка. Ехали на такси. Темное, в лужах, Болшево казалось краем света. Ветер, почти незаметный в городе, с завыванием носился между мокрыми, нагими деревьями, напоминавшими скелеты, а может, остовы разбитых кораблей, а может, и не то и не другое, но все равно смотреть на деревья было немножко жутко. Редкие освещенные окна усугубляли картину, потому что дома стояли в глубине садов, а изъеденные темнотою окна были круглыми и далекими, как звезды.

Миновав деревянный мостик, мы еще некоторое время ехали по дороге, некруто взбирающейся вверх, и потом свернули влево, под арку. По аллее скатились к двухэтажному каменному особняку,

возле которого уже стояло несколько легковых машин.

Зрительный зал в Доме творчества кинематографистов невелик. Точнее — крошечный. Комната в полуподвальном помещении мест на пятьдесят. Уют. Мягкие кресла...

Показывали «Ночь» режиссера Микеланджело Антониони. Долго ожидали переводчицу. Наконец она приехала. В просмотровый зал хлынула публика. Каждый что-нибудь заранее оставлял в кресле: зажигалку, блокнот, листок бумаги и другую мелочь — и теперь смело садился на свое место. Елена Николаевна разговаривала с молодым, но уже успешным ожиреть мужчиной в серой шерстяной рубашке. Он сидел, небрежно откинувшись в кресле, и лениво выталкивал слова, будто боялся, что их не успеют законспектировать. Это был преуспевший сценарист, фильмы которого на колхозную тематику хотя и не поднимали острых социальных проблем, но были милы и лиричны и нравились зрителям...

— Из всех Антониони я предпочитаю Феллини, — сказал преуспевший сценарист.

Елена Николаевна заспорила. Она сказала, что Антониони был в прошлом писателем и у него своя кинематографическая манера, отличная от неореалистов и от Феллини тоже.

Вероятно, в фильме было много личного. Герой — популярный писатель. У него деньги, слава, поклонники. Молодая, прекрасная жена. Но и писатель и его жена совершенно одиноки. Одиноки, хоть и живут вместе... Тема одиночества — страшная и холодная, как бездна, — пронизывает весь фильм. Там есть изумительная сцена в сумасшед-

шем доме, когда психически ненормальная девушка рафаэлевской красоты увлекает писателя в палату и предлагает ему себя. Сцена полна отчаяния и безысходности, граничащими с безумием...

Большую часть фильма заполняют эпизоды ночи. Высшее общество. Чем только не занимаются эти люди! И все они либо пусты, либо одиноки... На рассвете в туманном саду писатель и его жена, кажется, обретают друг друга... Что их сблизило? Одиночество. Так сближает случайных людей долгая, долгая дорога. Грустно...

Но не настолько, чтобы уходить из зала... В самый напряженный момент преуспевший сценарист поднялся и, шаркая подошвами, демонстративно пошел играть в бильярдную.

Суббота пропала!

Побродив по Москве, я поехал домой. И когда сошел с автобуса, то проходил мимо клуба. Услышал там музыку. И решил зайти. Я несколько раз дернул дверь за ручку. Но она была закрыта. У освещенного парадного стояла группа ребят. Один из них, бородатый, сказал:

— Не тяни, а то оторвешь.

— У меня приглашенный билет, — соврал я. Бородатый оказался философом:

— Билеты, как и все в жизни, невечны. Органические вещества умирают, неорганические разрушаются. Билеты аннулируются...

— Светлый ум... Тогда ответь, почему при одной и той же мощности двигатель с большим чис-

лом оборотов меньше двигателя с меньшим числом оборотов? — нахально спросил я.

Ошарашенный премудростью вопроса, борода-тый уважительно посмотрел на меня. Пауза позволила одному из ребят весело заметить:

— Что, Колумб? Схлопотал по щекатурке!

— Надо подумать. Я не выдаю экспромтов. Экспромт — штука хорошая, но безответственная.

— Тоска, — поживаясь, сказал я.

— Ступай в агитпункт. Развеселишься! — ментально среагировал Колумб.

Дружным хохотом ребята оценили его остроумие.

Опасный противник! Нужен немедленный ответ. И я... Я повернулся и пошел к двери, над которой, высвеченное лампочками, висело красное полотнище с надписью: «АГИТПУНКТ».

Вошел. Тишина. Длинный стол с газетами и журналами. А за другим столом — спиной ко мне — девушка. Она перегнулась над столом. И я вижу лишь юбку в клетку, капрон и туфли. Она не обращает внимания на то, что кто-то вошел. А я, рассматривая ее, говорю:

— Туземная молодежь просто недооценивает возможности агитпункта.

Девушка выпрямляется.

— Ксения?! Простите...

На щеках у Ксении румянец. Глаза настороженные:

— Какими ветрами?

— В свободное время я работаю над повышением своего идейно-политического уровня.

— Я думала о вас совсем иначе.

— Я тоже... Это все потому, что слово «бригадир» — мужского рода... И вообще как здесь, на гражданке? Начальник в неслужебное время все же начальник или нет? Во флоте боцман — всегда начальник. А в увольнении еще страшнее...

На столе лежит выкройка. Ксения переводила ее из журнала «Работница». Она сейчас очень миленькая, эта бригадирша. И прическа — первый класс!

— Нет, — серьезно отвечает Ксения. — Я начальник только на стройке. А так мы с девчонками — подружки.

В шутках она разбирается меньше, чем в прическах. Ясно! Больше патетики.

— Вне работы вы просто девушка!

— Выходит, так, — улыбается Ксения.

— Ну, если вы просто девушка, то разрешите задать вопрос: почему вы не на танцах?

— Я дежурная по агитпункту, до девяти часов...

— И еще один вопрос: можно вас проводить?

Она удивленно смотрит на меня своими большими глазами и говорит словно про себя:

— Я думала о вас совсем иначе...

Снова лужи. Обходим их вместе. Небо чистое, безлунное. Только звезды. Ненадоедливые звезды. Хорошо идти с девчонкой. Просто хорошо. Только разговор у нас тяжеловатый. Не лирический, а на общественные темы.

Примерно такой.

— Конечно, возможности для культурной работы на стройке есть. Значит, комсомольская орга-

низация не проявляет инициативы. — Это я так умно говорю.

Ксения объясняет:

— У Женьки опыта нет. Его первый год избрали.

— И внешний вид у него не очень авторитетный...

— Разве он виноват, что у него внешность доверия не внушает, — защищает Женьку Ксения. — Это лишь на первый взгляд. И еще он любит другой раз соригинальничать. Знаете, Максим, однажды он у нас в гостях был. Мама его обедом угостила. Он ел-ел и вдруг говорит: «Мария Федоровна, ваш борщ как микстура». Мать — человек обидчивый. С ней чуть дурно не стало. А Женька не спеша поясняет: «Целительный и полезный». Таковой он...

Теплота, с которой она произнесла последние слова, преобразила ее. Я посмотрел на Ксению. Какая она сейчас? Красивая, гордая, злая? Все не то... Добрая!

Справа в темноте кто-то часто мигал фонариком.

— Это мне, — остановилась Ксения. — Дальше нельзя.

— Почему?

— Андрюшка! — позвала она.

Из темноты вынырнул мальчишка лет восьми с резиновыми сапогами под мышкой. Он недружелюбно осветил меня. И поставил сапоги на асфальт.

— Мой провожатый, — ласково представила Ксения. — Что бы я делала без такого братишки?

— Когда пистолет купишь? — недовольно спросил Андрюшка.

— Какая с него корысть? Игрушечный...

— Все равно... С пистолетом и в темноте не боязно.

Ксения, опершись на плечо Андрюшки, сняла туфлю и сунула ногу в сапог.

— Так каждую весну и осень. Грязища непролазная. Даром что Москва близко.

И мне внезапно захотелось задержать Ксению. Поговорить с ней о чем-нибудь... Но я молчал, будто ночь заткнула мне рот. Ксения, пожелав спокойной ночи, уходила с братом. Они разговаривали. И все было слышно...

Глава шестая

ПИР НА ВЕСЬ МИР

Замка на двери в мою комнату не было. Имелся общий замок в квартире. И я хотел тоже поставить на свою дверь замок. И даже купил его в хозяйственном магазине на Колхозной площади. Но потом увидел, что на дверях соседки замка нет. И похерил эту затею...

Однажды я возвращался домой около семи вечера. Было уже темно. В окнах горел свет. И самое удивительное, что он горел и в моем окне, хотя я точно помнил, что, уходя на работу, погасил лампочку.

Я вошел в прихожую. И еще больше удивился, когда услышал, что в моей комнате щелкнул выключатель и полоска света под дверью исчезла.

В квартире тишина. Соседки на кухне нет. Но лампочка там горит, и свет, ластясь к стене, немного проникает в прихожую.

Неужели воры?..

Толкаю ногой дверь, она беззвучно уходит влево, но не до конца. Кто-то стоит за дверью и мешает ей приткнуться к стене. Вижу, стол выдвинут на середину комнаты. На столе бутылки и фрукты. А за столом кто-то сидит.

Дергаю шнурок выключателя.

На меня смотрит симпатичная девушка. Локоть ее левой руки лежит на столе, ладонью она подперла щеку. Глядит спокойно, но с любопытством.

Полундра! Неужели я перепутал подъезды!

Дверь теперь ползет на меня. Из-за нее появляется Стас, улыбающийся во весь рот. Поднимается Алексей Чивиков, сидевший на корточках за диваном-кроватью. Стас протягивает лапу и говорит:

— Зажал, морж, новоселье.

— Да нет, да я...

— Хватит оправдываться. Мы человеки ушлые. Знакомься — Валя. Э, нет... Не пяль на меня глаза, не по адресу. Поздравления — Чивикову.

Стас, как всегда, говорит много и быстро.

Девушка протягивает мне холодные пальцы. Вежливо кивает.

Чивиков — нос кверху. Грудь колесом. Петухом ходит. Нравится ему, конечно, Валя. Очень нравится. Позднее, когда мы выпили, он спрашивал меня:

— Ты бы на ней женился?

А что ответить? Говорю:

— Она бы за меня не пошла.

— Почему?

— Тебя любит.

Доволен. Улыбка на лице не умещается.

Но разговор этот случился позднее. А когда я пришел, на столе высились шампанское и коньяк. И закуски лежали в тарелочках. И фужеры стояли и рюмки.

— Позови свою милую соседку, — говорит Стас. — Она охотно нас выручила посудой. И мы закатим пир на весь мир.

Я иду приглашать соседку, а думаю о том, что Стас и умнее, и ловчее, и хитрее меня, что он уже начисто выиграл этот вечер. Что никакого серьезного разговора не получится. Что я вообще не умею говорить серьезно. Такой вот я человек.

Стас сказал:

— Нет. Нет. Я за рулем не пью. Нарзан — другое дело.

Потом, когда я немного захмелел, попытался задеть Стаса. Слегка:

— Каждое дело нужно делать честно и на совесть. Все, что сработано иначе, не выдержит первого же шторма, затрещит по швам. Тогда большая беда будет.

— Правильно твой боцман говорил, но бескрыло. Видать, мужик он дельный, смекалистый. Но вот крыльев ему не хватает. Дельфин он, понимаешь...

— Не понимаю.

— Слышал, что ученые наблюдают за дельфинами, удивляются их уму. Говорят, дельфины полетят на другие планеты, на те, где океанов много. Но полетят только в том случае, если их пошлют люди. Пойми, милый Макс, не боцманы Шипки двигают человечество вперед.

— Но если боцманы воспитывают тех, кто двигает человечество вперед, почему же они дельфины?

— Действительно, почему? Один — ноль в твою пользу... Ладно, Максим... Продолжим наш разговор в другой раз. А сегодня... Сегодня мы пришли к тебе по делу. Валя!

Стас и я сидели на диване-кровати. И Валя подошла к нам и села рядом со Стасом.

— У нас к тебе просьба, — сказал Стас.

Суть ее состояла в следующем. Валя училась на актерском факультете в Государственном институте театрального искусства. Месяцев шесть назад ее пригласили сняться в кино. Роль была хорошая, главная женская роль. И Валя согласилась. Но просрочила отпуск, который ей предоставил деканат. И теперь у нее были серьезные неприятности в институте. И она хотела перейти во ВГИК.

— Поговори с Еленой Николаевной, — предложил Стас. — Она знает, как это делается.

— Фильм послезавтра принимает Главк, — сказала Валя. — Потом его можно будет показать во ВГИКе.

— Я поговорю с Еленой Николаевной, — согласился я. — Не знаю, что из этого получится, но обязательно поговорю...

— Спасибо, — сказала Валя.

Я проводил их до машины. Заурчал мотор. Стас кинул:

— Звони, старик. Не зазнавайся.

Красные огоньки, покачиваясь, уплывали в ночь...

Я не сердился на Стаса. Больше не было у ме-

ня на него злости. Хотя я точно знал, что Стас живет нечестно. Только вот какая-то жалость томилась под сердцем...

Глава седьмая

НАЗОВИ МНЕ СТОЛИЦУ ФИНЛЯНДИИ

Люди ждали автобус. А снег падал. И пока я возился с плакатом, пытаюсь прикрепить его на дверях — доски были мерзлые и кнопки гнулись, — люди стали совсем белыми.

Продрогшая Ксения, постукивая ботинком о ботинок, топталась на одном месте. Под мышкой она держала рулон с такими же плакатами, на которых были напечатаны биография кандидата в депутаты и его фотография.

— Сегодня обойдем двадцать квартир, — сказал я.

— Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь...

Она была злая. Я спросил:

— Что-то ты без энтузиазма относишься к общественным поручениям?

— Я в прошлом году агитатором работала. Я знаю, что такое двадцать квартир...

Мы пришли в дом.

— Начнем сверху, — сказала она. — Сверху удобней.

— Я бы этого не сказал, — возразил я. — Начнем снизу. Все нормальные агитаторы начинают снизу.

— Бросим жребий, — сказала она.

— Будь по-твоему, — сказал я.

На самой верхней площадке дверь нам открыл старичок, невысокий, седенький.

— Здравствуйте, — говорю я.
— Здравствуйте, — отвечает старик.
— Мы агитаторы, — говорит Ксения. — Разрешите войти...

Короткий коридор упирается в комнату. Старомодная кровать. Высокий шкаф. Круглый стол. На нем — тарелки и стаканы. На диване, распахнув веером мехи, лежит гармонь.

— Иванов Федор Иванович, — читает Ксения. — Год рождения тысяча восемьсот девяносто пятый. Все правильно?

— Правильно... Буква в букву, — говорит старик.

— Иванова Авдотья Поликарповна. Год рождения...

— Нет такой, — говорит старик.

— Как нет? — удивляется Ксения. — Нам в жилотделе список дали.

— Список — одно, дочка... Жизнь — другое... В списке Авдотья, может, и есть. А в жизни нет... Схоронил на прошлой неделе... — спокойно растолковал старик.

И Ксене и мне стало как-то не по себе. У человека такое горе. И утешать глупо. И вообще...

— Вам, наверное, не до агитации, — говорит Ксения. — Может, я лучше посуду вымою...

— Я все делаю сам, — говорит Федор Иванович.

— Я вымою, — сказала Ксения и решительно сняла пальто.

— Раздевайся и ты... — сказал мне Федор Иванович. — Чайку попьем.

— Я разденусь... Но чай пить не буду.

Пока я снимал пальто, Ксения унесла посуду на

кухню. Я сел по другую от Федора Ивановича сторону стола.

— За кого голосовать будем?

— За Козлова Мартына Леонидовича, — ответил я.

— Расскажи о нем.

— Козлов Мартын Леонидович родился в 1914 году в деревне Чернушки...

— Эти сведения я и в плакате прочту, — прервал старик. — А своими словами. По-русски...

— Своими словами... Моральный кодекс читали? Вот это и есть Козлов...

— Парень ты на вид живой, а язык у тебя суконный... Вот ты агитировать пришел. Знаешь, как мы в двадцатые годы за Советскую власть агитировали? Я кандидатов в депутаты лучше самого себя знал. А ты талдычишь мне: моральный кодекс, деревня Чернушки...

— В двадцатые годы все малограмотные были. К печатному слову невосприимчивые. А сейчас народ грамотный. Для того и плакаты с биографиями существуют. Не верите, голосуйте против. Ваше право.

— У, крапива! Отшлепать бы тебя по мягкому месту. Кажется, это единственное, чего не хватает нашей молодежи.

— Если за дело, пожалуйста...

— Не психуй. Шучу... Ты нравишься мне. Эх! Я в тебе, если хочешь знать, свою молодость увидел. Мы в двадцатые годы тоже горячими были. Только одежда у нас была похуже, чем на вашем брате.

— Вы какой-то непоследовательный.

Старик положил руки на спинку стула и задумчиво произнес:

— Непоследовательный. Жизнь — она как погода. И солнечно и слякотно. Сегодня ты на коне, а завтра задом в лужу шлепнешься. Для тебя это пока все теория. А я всякое на своем веку видывал. И скажу тебе — счастливое ваше поколение... Я целыми днями по городу хожу. Не потому, что врачи прописывают... Вашим братом люблюсь. И будто года сбрасываю. Когда видишь приятное, молодеешь. Ты это потом поймешь...

— Не надо нас перехваливать. Мы тоже разные...

— Разные... Но наши.

— Наши.

— Это и хорошо.

Ксения вытирала посуду полотенцем. Потом она повесила его на веревку, протянутую под потолком кухни.

— Все. Тарелки как новенькие, — сказала она, входя в комнату.

— Спасибо, — сказал Федор Иванович. — Спасибо... Приходите ко мне. Пospорим, чайку попьем. Придете?

— Обязательно, — обещали мы.

...Пока обошли все квартиры, настала ночь.

— Я валюсь с ног, — сказала Ксения.

— Давай я тебя понесу, — пошутил я.

Споро шел снег. Ксения была белая, как снегурочка. Я взял ее под руку. Она сказала:

— Завтра добьем список.

— У тебя завтра школа, — возразил я.

— Не пойду.

— Почему?

— Надоело, — просто ответила она.
— В каком ты классе?
— В восьмом.
— Двоек много?
— Тройки, четверки...
— Ясно. Тройки по математике. Четверки по истории, географии.

— Мы географию не учим.
— Чегой-то?

Она пожала плечами.

— Париж — чья столица? — спросил я.

— Французская.

— А София?

— Чешская...

— А может, финская?

— Нет, — покачала головой Ксения.

— А какая же столица Финляндии?

Она ответила:

— Нальчик...

Я остановился, повернул ее к себе и посмотрел в глаза. Она молчала. И не шевелилась. Снег таял на ее губах. А я четыре года не целовался с девочками. Думал, она вырвется, закричит, ударит. Но она приникла ко мне. Я поцеловал ее во второй раз, в третий...

Я держал ее за плечи. И лица наши были совсем рядом, чуть ли не нос к носу.

Она провела мокрой варежкой по моему лицу...

В темноте усиленно мигал фонарик.

— Это Андрюшка, — прошептала Ксения.

— Он все видел.

— Он не скажет.

На ветках березы, огороженной кирпичной клад-

кой, лежали полоски снега. Береза не казалась теперь большой, как прежде. Выросший дом прижал ее к земле. Высоко над березой кровельщики гревели железом.

В обеденный перерыв я забежал в буфет. Можно было махнуть в кафе, но там всегда собиралось много народу. И очередь выстраивалась такая длинная, что не закрывались двери. Повара очень ругались. Потому что холодный воздух заполнял кафе. И стены потели. И столы и окна тоже...

В буфете, узкой мрачноватой комнате, стояло три стола. В глубине — стойка. За стойкой — полная буфетчица Шурочка. Или, как шутя называли ее на стройке, «Дюймовочка». Белый халат, белое лицо и белые, замученные перекисью волосы. Шурочка была доброй толстушкой лет тридцати. Она кое-кому из молодых парней, исключительно для повышения авторитета торговой точки, разрешала ущипнуть себя за халат и даже поцеловать в щечку. Но злые языки... Что там говорить, где их нет. Шурочка берегла нервы, не обращая на сплетни внимания. И чтобы не быть в долгу, сама не чуралась позлословить на чужой счет.

Я частенько обедал здесь. Бутылка пива заменяла первое. А котлет, сарделек, яичек в буфете всегда было навалом. Увидев меня, Шурочка радостно сказала. Нет, она не хотела говорить, но язык у нее, видимо, чесался...

— Поздравляю, — сказала она. — Значит, женишься на Ксеньке!

— Сегодня не первое апреля. Зря стараешься.

— Кто? Я? Перекрестись! Ксенька всем девчатам на стройке рассказала.

Я развернулся — лег на обратный курс — и выбежал из буфета.

Шурочка крикнула:

— Пиво забыл!

...Ксеню нашел в недостроенном доме. Она разговаривала в комнате с девчонками. Вообще они обедали, жевали бутерброды и говорили о какой-то чепухе. Наподобие:

— Если купить три метра фланели, можно еще лучше пошить.

— Смотря какая ширина...

Я заглянул и поманил Ксеню пальцем.

Она вышла на лестничную площадку. Здесь было грязно и сумрачно. Сквозь окно, заколоченное фанерой, врывается узкая полоска света. Она перерезала Ксеню пополам.

— Слушай, — сказал я. — Что ты болтаешь? Я обещал на тебе жениться? Я говорил это?

Она растерялась. Покраснела. Опустила глаза. И пролепетала:

— Нет... Но... Ты же целовал меня.

-- Всех целуют... Ты что, с луны свалилась? Или, может, скажешь, что я тебя первый поцеловал?

Она вскинула голову, вlepила мне пощечину и, закрыв лицо руками, побежала прочь.

Пощечина была такой звонкой, что кто-то из отделочниц, находившихся в соседней комнате, воскликнул:

— Ой! Что-то упало!

Глава восьмая
СОКРОВИЩЕ ИЗ ВГИКа

— Эта девочка, о которой ты меня просил, оказалась весьма способной, — сказала Елена Николаевна, когда я в следующий раз пришел к ним.

— Какая девочка?

— Актриса. Валя...

— Серьезно?

— Да. Мы смотрели ее фильм. И даже столь требовательная аудитория, как в нашем институте, осталась довольна игрой дебютантки.

— Значит, ее приняли на актерский?

— Приняли. На второй курс.

— У нее большое будущее?

— Нелегко ответить на этот вопрос. Я знала много талантливых людей, которые так и не сумели ничего достигнуть в кино.

— Трудно поверить. Я привык слышать, что талант всегда пробьет дорогу.

— Откуда же берутся непризнанные гении?

— Их придумывают писатели.

Елена Николаевна вздохнула:

— В судьбе актера многое значит случай. А все, что зависит от случая, сам понимаешь, дело зыбкое. Нужно, чтобы сценарист написал роль, которая соответствует твоим возможностям, роль, в которой ты смог бы раскрыться. Нужно, чтобы режиссер заметил тебя. Нужно, чтобы оператор удачно поставил свет, и тогда лицо твое будет признано фотогеничным. Нужно в конце концов уметь себя вести. Слава быстро вскруживает головы девочкам после первого же успеха. А вообще это тяжелый физический труд. Просто более благодар-

ный, чем перетаск тяжестей. Вся слава идет к актеру. Редкий зритель задумывается над тем, кто писал сценарий, кто ставил фильм, кто снимал... К примеру, ты знаешь фамилию хоть одного нашего режиссера?

— Бондарчук.

— Потому, что он актер. А сценариста?

Я не смог назвать.

— Вот так... — грустно улыбнулась Елена Николаевна. — А уж нас, киноведов...

Она махнула рукой.

— Рад, что у Вали все благополучно. Она милая девушка.

— Вы помирились со Стасом? — вмешался в разговор Еремей.

— Он приехал. И обезоружил меня.

— Лучшая оборона — нападение, — заметил Еремей.

— Дело не в этой живучей истине. Дело, наверное, в наследственности. Мама наша была интеллигентка. Папа интеллигент. Бабушка и дедушка тоже. И дешевая интеллигентская совестьливость у меня в крови. Не могу, понимаешь, плюнуть человеку в лицо или дать ему коленкой под зад, если даже знаю, что деньги свои он зарабатывает не совсем честно.

— Слава богу, — сказал Еремей. — В этом есть несомненные преимущества. Во-первых, у тебя меньше шансов угодить на пятнадцать суток; во-вторых, больше возможности подумать головой. Ты не забыл о ней?

— Понимаешь, Еремей, даже в детском садике уже заметно, какие разные характеры у детей. Один ребенок тихий, спокойный, а другой ко всем

пристает, игрушки ломает... Стас был бы не Стасом, если бы не брал денег, которые ему дают грузчики.

— Значит, он берет у грузчиков?

— Да. И у продавцов тоже...

— Уголовное дело...

— В милицию я не пойду.

— Там тебе и нечего делать. В милиции нужны факты, а не общие домыслы. А у тебя фактов нет.

— Точно.

— А поговорить откровенно вы не можете? Друзья же... Дескать, пойми, Стас, чем рискуешь. Сколько ниточке ни виться, а концу быть...

— Пытался. Но ему это как до лампочки.

— Тогда его нужно попугать, — решил Еремей. — Он же трус.

И я попугал...

Случилось это дня через два.

Утро мне испортил Женька. Он поднялся на девятый этаж, где мы с Василием ставили предохранители. И сказал:

— Что там у вас произошло с Ксеньей? Она требует другой участок. С тобой работать не хочет.

— Ей виднее, — ответил я.

— Вы как маленькие дети, — не унимался Женька. — Вам доверено общественное дело. А вы вмешиваете сюда личное. Вот пройдет избирательная кампания, тогда хоть на головах ходите. И не срывайте мне планы комсомольской работы...

— Женя, я считал, что ты умнее.

Женька набычился, опустил голову и пошел вниз. Но на следующем пролете остановился. И крикнул:

— Можешь не считать себя агитатором! Я осво-

бождаю тебя от этого комсомольского поручения.

И побежал дальше по лестнице.

— Совсем обалдел парень.

Василий услышал:

— Обалдешь. Он же в Ксеньку по макушку влюблен.

— Глупости говоришь, — не поверил я.

— Чтоб мне больше никогда не выпить, если я вру. Он же совсем извелся, когда ты с ней шурымурил...

— Они раньше дружили?

— Конечно.

И я вспомнил, как в первый вечер, когда мы шли с ней по лужам, она рассказывала о Женьке и лицо ее было добрым и светлым.

— Он мог намекнуть хотя бы.

— Что он? Она тоже хороша, — возразил Василий. — Строит из себя.

Словом, после этого разговора я весь день был не в духе. А вечером приехал ко мне Андрей Чивиков. Говорит:

— Пришел прощаться.

— Все-таки надумал в Армавир?

— Надумал не надумал, а мать прикатила.

— Она была убеждена, что сын ее студент.

И приехала поинтересоваться успехами.

— Нет, — уныло ответил Чивиков. — Она приехала потому, что Стас послал ей письмо.

Это было уже интересно.

— Почему он так сделал?

— Я хотел спросить об этом тебя. — Андрей смотрел на меня не моргая. — О нашем разговоре в кузове машины ты сказал ему?

— Я ничего не говорил. Но мое отношение

к Стасу изменилось. И он, конечно, заметил это.

— Заметил, — согласился Андрей.

— Ты должен был потолковать с ним.

— Толковать трудно, если он этого не хочет.

Он изрек, что я стал слишком болтлив и ему это не нравится.

— На него похоже.

— Стас твой друг. И я хочу, чтобы ты знал, какой он на самом деле.

— Я знаю.

Когда Андрей Чивиков ушел, я лег на диван и пытался читать книгу. Но строчки казались непонятными, словно были написаны на неизвестном мне языке...

Через час я звонил у входа в квартиру Стаса. Галстук-бабочка, черный и узенький, — первое, что бросилось мне в глаза, когда Стас открыл дверь. Он, несомненно, ждал кого-то другого, потому что улыбка, мягкая и несколько снисходительная, вдруг покинула его лицо и выражение досады, недовольства на секунду тронуло уголки губ, брови дернулись к переносице. Но все это продолжалось короткое мгновение. И вот уже на лице его заученное радушие.

Боцман Шипка, не покидай меня!

— Что стряслось, старик?

Ломтики лимона лежали на тонкой фарфоровой тарелке с изогнутыми, как лепестки цветка, краями. Стол был накрыт для двух человек. И потому, что среди закусок и сладостей темнели фиалки, редкость в зимнюю пору, можно было догадаться, Стас ожидает женщину.

— Я вломился не вовремя.

— Похоже, что так, — признался Стас.

— У тебя плохое настроение.
— У меня никогда не бывает плохого настроения.

— Деловой ты человек.

— Что хочешь этим сказать?

— Хочу спросить, кто просил тебя писать письмо матери Андрея?

— Ты.

— Слушай. Не смешно... Я просто удивляюсь.

— В конце концов способность удивляться дарована нам детством. А то были неплохие годы. Правда?

Я молчал.

— Не думай, что я перед тобой оправдываюсь. Но я все объясню. У тебя действительно имелись основания быть недовольным мною.

— Я не высказывал их.

— Правильно. У меня много недостатков, но я сообразительный. Я понимаю. Было бы очень плохо калечить судьбу Андрея. И я решил исправить ошибку, допущенную три месяца назад. Он из хорошей семьи. Единственный, любимый сын. Мне кажется, карьера грузчика-шабашника не для него. Ты согласен?

— В этом есть логика. Но не вся правда...

В передней задребезжал звонок. Дверь, видимо, открыли соседи. А потом постучали к Стасу.

— Войдите, — выдал Стас.

Скрипнула дверь. На пороге стояла Валя. Модная, раскрасневшаяся... С очень серьезным взглядом.

Стас подошел к ней, чтобы помочь снять пальто.

Все стало ясно.

— Трепло, — сказал я. — Выпутывался, как мелкий жулик. Не мог объяснить по-мужски.

Стас побледнел:

— Все-таки флот сделал из тебя грубияна.

— Флот не институт благородных девиц. И боцман Шипка всегда имел о подлости определенное мнение.

— Что дальше? — глухо спросил Стас.

— Дальше... Пусть и она знает, какой ты есть... Наш общий знакомый Стас — образцовый директор магазина... Правда, он берет деньги у своих грузчиков и продавцов, но все же печется об их будущем. И если нужно отбить у кого-нибудь невесту, пишет письмо матери жениха...

И т. д. и т. п.

Нет. Я не чувствовал себя героем. Я скорее походил на человека, увязшего в болоте или висящего на краю пропасти и орущего во весь голос в надежде, что кто-то услышит его и протянет руку.

Но и Стас вел себя не лучше. Видно, он давно не был в такой переделке и теперь просто оупел:

— Ты хочешь мне зла. Позоришь меня. Клеветать... И все из мести. Валя, он влюблен в мою сестру. И готов лизать ей пятки. Но я-то тут при чем? Я не могу ей помешать спать с другими!

Пятки, конечно, ерунда. Это так, ради красного словца. Но последняя фраза. Ему не нужно было говорить эту фразу. Не нужно. И тогда он бы не упал на спину и не задел бы плечом стол, хрупкие ножки которого не выдержали толчка...

— Вам не надо здесь оставаться, Валя. Не надо. Пошли!

— Нет, нет. Вы не правы, — запротестовала она. — Это я просила написать письмо матери Андрея. Я просила...

Хорошо, что сбегать по лестнице можно почти без усилий. Вот только двери в чужих подъездах хлопают отвратительно громко.

Боцман Шипка... Прошу тебя, дай мне три ряда вне очереди.

Глава девятая

ДВА МАТРОСА — КОМАНДА

Белое облако, большое и сердитое, напоздало на солнце. И уже через две-три секунды я видел тусклый желтый круг да клинья лучей, торчащие над недостроенными домами. Домов было много. Они закатывались за горизонт. И еще дальше... Слева теснились низкие домики поселка. Он доживал последние дни. Бульдозер, тяжело развернувшись, врезался в угол крайней хаты. Она с треском рухнула...

Я смотрел в окно восьмого этажа.

Внизу лежал двор. Белый и грязный, с лужами и красными проталинами кирпичей. Внизу шла девушка. Она ступала неуверенно. И часто озиралась по сторонам. Я не мог разглядеть ее лица. Только волосы, яркие, как солнце.

Монтажники рыли траншею. Девушка остановилась возле них и что-то спросила. Один из монтажников показал лопатой прямо на меня.

Крановщик включил мотор. Крюк, повизгивая, двинулся вниз. Девушка запрокинула голову. Мне хотелось быть там, на крюку. В секунду очутиться возле нее.

Василий удивленно посмотрел на меня:

— Знакомая?

— Очень даже...

— Ничего себе. Арматура в порядке, — сказал Василий.

Поправив кепку, я пошел на лестницу...

Она стояла на другом конце лужи. Я не стал обходить лужу. Ступал по воде и смотрел на Аллу. Она улыбнулась. Это была прежняя улыбка — милая и немножко задорная.

Какое-то время мы меряли друг друга взглядом. Потом Алла — у нее был отдохнувший, холеный вид — сказала:

— Думала побродить с тобой, а теперь надо сушить носки.

Я взял ее под руку, и мы пошли к дороге.

— Как ты живешь? — спросила она.

— Я живу хорошо. У меня своя комната. Есть где принимать гостей.

По пути зашли к Шурочке в буфет. Я пропустил Аллу вперед. И Шурочка растопырила ротик от удивления. Я не сомневался, завтра об Алле будет знать весь городок.

— Шурочка, мне нужна бутылка вина. Самого лучшего. И вон те конфеты...

Когда вышли из буфета, она спросила:

— Зачем вино?

— Какая наивность! Может, я хочу соблазнить тебя...

Точно назло, соседка оказалась в кухне. И заглянула в прихожую, когда мы вошли.

— Здравствуйте, — сухо поздоровалась Алла.

— Добрый день, — ответила соседка.

Я закрыл дверь.

Алла взяла меня за голову и поцеловала в ежистые волосы. Она сказала:

— Можно, я сниму туфли? А то мне кажется, я выше тебя.

— Почему ты пришла? — вопрос был не очень тактичный, но я считал, что имею на него право.

— Разуйся и ты, — сказала она. — Носки нужно высушить на батарее.

Пить вино из старых эмалированных кружек хорошо только в компании своих ребят.

— Ты уж извини, — сказал я. — Рюмок нет. И стаканов тоже нет.

— Время от времени я буду приходить к тебе неожиданно, — сказала она, отхлебывая из кружки.

— Наверное, я старею, — сказал я. — Но неожиданности раздражают меня.

Она усмехнулась, точно плюнула, взяла из пачки сигарету.

— Нужно поговорить, — сказал я.

— Говори... Это гораздо интереснее, чем молчать.

— Хорошо. Только прежде чем сказать, будем думать... А не играть в словесный пинг-понг.

— Ты научил меня играть... Я переняла у тебя массу привычек. И самую скверную — хамить. Старшим, друзьям, подругам, пассажирам...

— Все понемножку хамят друг другу... На нервной почве.

— Думаешь, я псих?

— Я ничего не думаю. Я давно о себе не думаю, — понимаешь? Вначале я приказывал не думать, а думал... Сейчас же все идет само собой. Как скорость на льду. Когда набираешь, вкладываешь силы, а потом летишь, словно так было всегда.

— Чего же ты ищешь в жизни? — спросила она, спросила со злостью, которую хотела скрыть.

— Золотую рыбку, — ответил я. — Глупо?

— Я понимаю... Мы часто спрашиваем, заранее зная, что на это ответить ничего вразумительного нельзя. Мне кажется, это потому, что мы мало творим. Вторим чужие фразы... Так же как: «Что ты хочешь этим сказать?», «Для чего ты живешь?» И с сомнением невежд пытаемся добраться до истины, представляя ее прямой и твердой, будто гвоздь. Я понимаю это. Но, может, я дура... Потому что уже было несколько случаев, когда я спрашивала себя: «Алка, для чего ты живешь?» Первый раз это случилось нынешней зимой в Душанбе. У меня была трудная ночь. Я редела как проклятая... Я спрашивала сама себя. И не могла спрятаться за спасительный, заранее уготовленный ответ...

Она умолкла, положила на стол затухшую сигарету, забросила ногу за ногу, обхватив коленку руками.

— Еремей как-то сказал мне, что у каждого должны быть свои этажи. Понимаешь, люди должны не только строить этажи, но и подниматься на них, расти...

— Расти, — она покачала головой. — Но все же не могут быть космонавтами или киноактрисами... Кому-то нужно и в самолете лимонад разносить. Мне. А почему?

— Обидно?

— Допустим. И опять же... Полное несоответствие с теорией этажей. Бортпроводница есть бортпроводница. Это потолок. И подниматься ей некуда. Разве только с самолетом.

Вынув пробку из горлышка бутылки, я заново наполнил кружки. Отхлебнул и сказал:

— Перед выборами я был агитатором... Ходили

мы с одной девчонкой по квартирам. Как обычно, списки проверяли. Биографии кандидатов рассказывали... Однажды попали мы к старичку по фамилии Иванов. Так себе, ничем не примечательный старик... Жена у него накануне умерла... Поговорили мы с ним. Ксения ему посуду помыла... Очень он хорошо о молодежи нашей отзывался. В гости приглашал. Говорит, заходите. О жизни потолкуем. Обещал я... Но текучка закрутила. Работа, подготовительные курсы... И вот на днях собрался я. Перцовки купил. Пришел... А старик помер... Уж скоро как месяц... Комната пустая, свежей краской пахнет. Никакого следа, что здесь жили люди. Понимаешь, никакого... Даже гвоздика, следов от вешалки, не осталось. Жуть меня одолела. Волосы чуть на голове не зашевелились... Люди жили, любили, ругались... И вдруг... Не осталось ничего-ничегошеньки... Постоял я в комнате... Был человек, были мысли, запросы, потребности. А теперь ничего нет. Разве только фотокарточки где-нибудь завалялись. Это ужасно, если в итоге остаются только фотокарточки в альбомах у старых знакомых... Ушел я. А утром узнал, что этот старик построил в Москве столько домов, что из них улицу сложить можно. И, пожалуй, побольше, чем улица Горького. И улицу, на которой стоит этот дом, с сегодняшнего дня называют его именем — Федора Иванова. Это и есть этажи. Так я понимаю...

— Может быть, — как-то вяло ответила она.

— На каждого человека нет рецепта. Главное тут — не пытаться обмануть самого себя. Стюардессы тоже нужны, как космонавты или киноактрисы. Вот выйдешь замуж...

— Спасибо. Я больше не выйду замуж...

— И опять ты не права. Если тебе попался недостойный тип, то вовсе не значит, что все мужчины плохие.

— Я не поэтому... Семья антиколлективна в своей сущности.

— Ты говоришь странные вещи. Значит, нужно без семьи...

— Я этого не говорю. Я читала у Энгельса, что семья в таком виде, как она есть, возникла лишь на определенном этапе. И отомрет. При коммунизме все изменится. На смену семье придет нечто совершенное, основанное на любви. Сейчас же... Все живут, как надо жить при данной общественной формации. А я хочу опередить время. Выполняют же планы досрочно. И это очень поощряется...

— Мы обещали не играть в пинг-понг...

— Я немножко... Чтобы не терять квалификации... Ты помнишь наш разговор на кухне, когда мы чистили картошку?

— Помню.

— Все-все? Повтори.

— В зрелом возрасте люди обычно уверяют, что годы летят быстро, что многое забывается, как сон. Школьные дни кажутся мне сном, который я видел на рассвете. И ты мне приснилась. И разговор на кухне приснился... Сны нельзя разыгрывать, как пьесу. Потому что присниться может черт знает что.

Она встала из-за стола, взяла потухшую сигарету и, чиркнув спичкой, подошла к окну. Там тускнел вечер. Мелкие капли дождя дробили стекло. Она повернулась спиной к окну. Я плохо видел ее лицо. Темный силуэт. И все.

— У тебя есть девушка? — спросила она.
— Мне не хочется говорить о моей девушке...
— Мой приход. И наше уединение в комнате не скомпрометируют тебя в ее глазах?

Я пожал плечами.

— Люди иногда несправедливы, — сказала она. — Они с большей охотой поверят, что мы валялись с тобой в постели, нежели в наш серьезный разговор.

— Порой мне кажется, что плохого в жизни гораздо меньше, чем об этом принято болтать. Все немного приукрашают свои подвиги.

Она сказала:

— Зажги свет.

Я проводил ее к электричке. Мы стояли на пустынной платформе. Было уже темно. И поезд, шедший в Москву, осветил нас. Алла сощурилась. Повернулась к поезду спиной, сказала:

— Непонятный ты...

— А может, непонятый?

Она не ответила. Шагнула в тамбур. И я почувствовал, что это все. Если раньше была какая-то недосказанность, надежда, безумие, то теперь все точно, ясно, как в приговоре. Только в несправедливом...

И кажется, она почувствовала это тоже. Повернулась ко мне лицом. И лицо ее не было больше красивым и грустным, как у мадонны. И ни за что на свете я не смог бы рассказать, какое это было лицо, потому что оно показалось мне вспугнутым и неприглаженным, как разворошенная ветром прическа, и чем-то напоминало лицо той, школьной Алки, с которой мы сидели на одной парте. Мне хотелось кричать криком.

Тысячелетия, племена, народы, обычаи, нравственные нормы — какой черт все это придумал! И я не крикнул, потому что был мужчиной. А ей сдавило горло приличие...

Платформа качалась, точно мы шли к кораблю на боте. И частые электрические фонари заслоняли от меня небо зыбкой, искрящейся пылью.

Было грустно. Такси укоризненно смотрело в мою сторону зеленым глазом. Я хлопнул дверкой. И назвал адрес...

Конечно, я был уверен, что приеду раньше ее, потому что такси есть такси. А ей нужно ехать до трех вокзалов. И там садиться на метро...

Я ждал на лестничной площадке, повернувшись лицом к батарее парового отопления. И не видел, что за люди поднимаются или спускаются по лестнице, и они не видели моего лица.

Ее шаги я узнал. Значит, я помнил их. Только не подозревал об этом. Она подошла ко мне. Застегнула предпоследнюю пуговицу на моей рубашке. И сказала тихо:

— Подари мне свою тельняшку.

Милый боцман, я люблю ее. А ты всегда стоял за любовь, если она настоящая. Ты учил, что матрос проверяется штормом. Любовь тоже проверяется так. И здесь все в порядке...

И все же...

Может, я плохой ученик, может, я многое не понял, но ты прости, боцман, что все это время я вел себя не лучшим образом. Оставив столько верных друзей на флоте, я почти потерял здесь единственного.

Я не закрываю дверь. Я говорю — почти... Потому что не верю в преграды, которые нельзя преодолеть.

Я только еще не знаю, как это делается. И ошибаюсь.

Но обещаю не отступить. Обещаю бороться за нашу дружбу. И я очень надеюсь на Аллу. Она поможет мне. Она попросила у меня тельняшку. Значит, мы вместе. Значит, нас двое. А я помню твои слова: «Один матрос — матрос. Два матроса — команда».

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Лунная радуга	5
Этажи	169

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Присылайте ваши отзывы о содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении книги, а также пожелания издательству и автору.

Пишите по адресу: Москва, А-30, Суцневская ул., 21, издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», отдел пропаганды.

Авдеенко Юрий Николаевич

ЛУННАЯ РАДУГА. М., «Молодая гвардия»,
1967. 240 стр. Р2

Редактор *К. Токарев*

Художник *Л. Рабенау*

Художественный редактор *Н. Печникова*

Технический редактор *Н. Михайловская*

Сдано в набор 5/VII 1967 г. Подписано к печати 8/XII 1967 г. А14476. Формат 70×108^{1/32}. Бумага типографская № 3. Печ. л. 7,5 (усл 10,5). Уч.-изд. л. 8,9. Тираж 65 000 экз. Цена 36 коп. Т. П. 1967 г., № 3189. Заказ 1292

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», Москва, А-30, Сущевская, 21.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

ПО РАЗДЕЛУ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Л. Соболев, Морская душа. Рассказы. 384 стр., цена 1 р. 27 к.

П. Немченко, Пашка, моя милиция. Роман. 400 стр., цена 76 коп.

В. Чивилихин, Над уровнем моря. Повести. 720 стр., цена 1 р. 73 к.

Л. Леонов, Литература и время. Избранная публицистика. 368 стр., цена 69 коп.

А. Котов, Белка в колесе. Рассказы. 160 стр., цена 25 коп.

Б. Костюковский, Зеленые братья. Повесть. 208 стр., цена 50 коп.

Д. Зигмонте, Должна быть Хавалинга. Роман. Перевод с латышского. 320 стр., цена 41 коп.

А. Калинин, Гремите, колокола! Лунные ночи. Суровое поле. Цыган. Эхо войны. 512 стр., цена 1 р. 39 к.

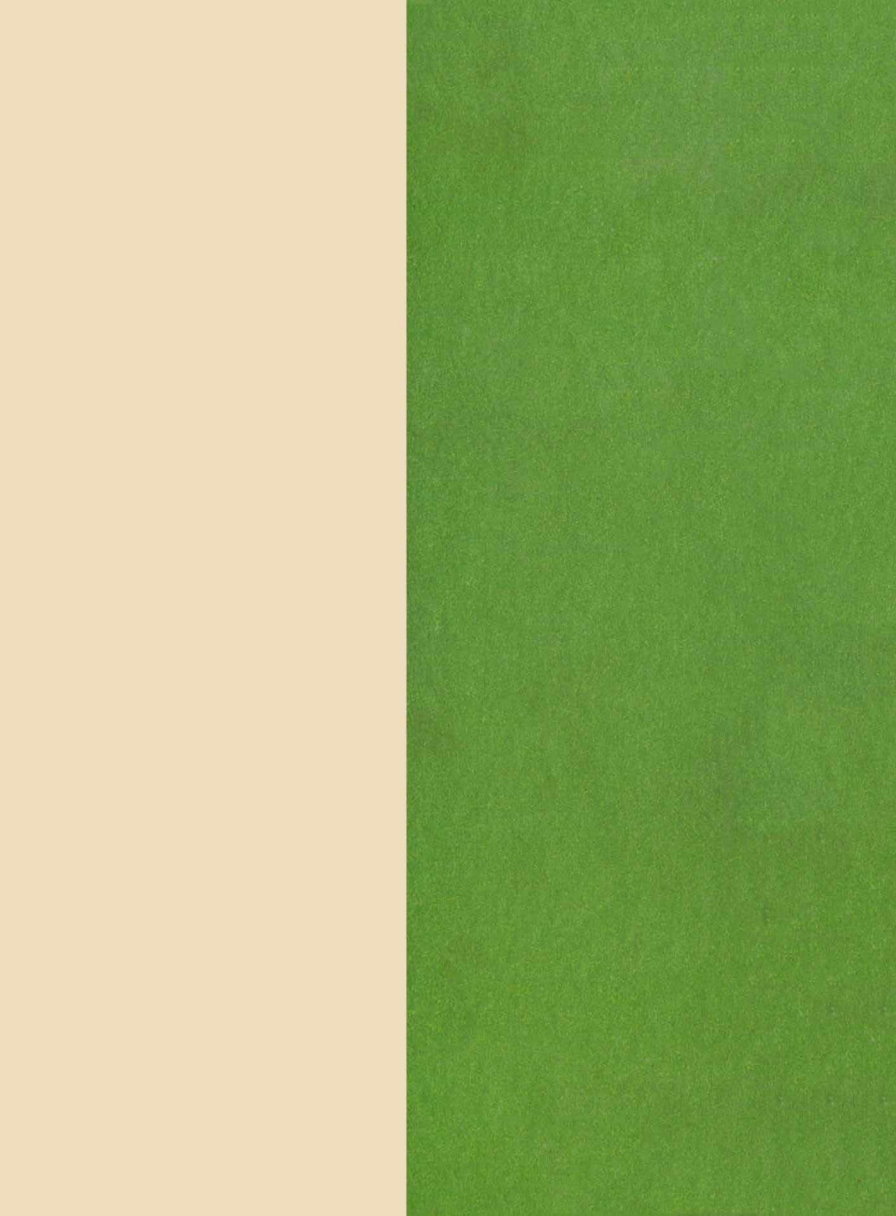
М. Стельмах, Щедрый вечер. Повесть. Перевод с украинского. 208 стр., цена 42 коп.

ПО СЕРИИ «МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ»:

Г. Матевосян, Мы и наши горы. Повести. Авторизованный перевод с армянского. 320 стр., цена 45 коп.

П. Межирицкий, Десятая доля пути. Повесть. 320 стр., цена 41 коп.

Э. Дубровский, Стреляные гильзы. Рассказы. 176 стр., цена 18 коп.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ